# Непокоренные

Борис Леонтьевич Горбатов

SHOUT
SHARE
IT

- Горбатов Борис Леонтьевич

# Горбатов Борис Леонтьевич
# Непокоренные

Борис Леонтьевич Горбатов

Непокоренные

Повесть

В сборник включены произведения советского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова (1908 - 1954), рассказывающие о бесстрашии и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Всё на восток, всё на восток... Хоть бы одна машина на запад!

Проходили обозы, повозки с сеном и пустыми патронными ящиками, санитарные двуколки, квадратные домики радиостанций; тяжело ступали заморенные кони; держась за лафеты пушек, брели серые от пыли солдаты - всё на восток, всё на восток, мимо Острой Могилы, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец... Проходили и исчезали без следа, словно их проглатывала зеленая и злая пыль.

А все вокруг было объято тревогой, наполнено криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раненых, плачем детей, и казалось, сама дорога скрипит и стонет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...

Только один человек у Острой Могилы был с виду спокоен в этот июльский день 1942 года - старый Тарас Яценко. Он стоял, грузно опершись на палку, и тяжелым, неподвижным взглядом смотрел на все, что творилось вокруг. Ни слова не произнес он за целый день. Потухшими глазами из-под седых насупленных бровей глядел он, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороны казалось - был этот каменный человек равнодушно чужд всему, что свершалось.

Но, вероятно, среди всех мечущихся на дороге людей не было человека, у которого так бы металась, ныла и плакала душа, как у Тараса. "Что же это? Что ж это, товарищи? - думал он. - А я? Как же я? Куда же я с бабами и малыми внучатами?"

Мимо него в облаках пыли проносились машины - всё на восток, всё на восток; пыль оседала на чахлые тополя, они становились серыми и тяжелыми.

"Что же мне делать? Стать на дороге и кричать, разметав руки: "Стойте! Куда же вы?.. Куда же вы уходите?" Упасть на колени середь дороги, в пыль, целовать сапоги бойцам, умолять:

"Не уходите! Не смеете вы уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут..."?"

А обозы всё шли и шли - всё на восток, всё на восток - по пыльной горбатой дороге, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу.

Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обозов, в старом Тарасе все мерцала, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока, из облаков пыли появятся колонны, и бравые парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути. Только б тянулась ниточка, только б не иссякала... Но ниточка становилась все тоньше и тоньше. Вот оборвется она, и тогда... Но о том, что будет тогда, Тарас боялся и думать. На одном берегу останутся Тарас с немощными бабами и внучатами, а где-то на другом - Россия, и сыны, которые в армии, и все, чем жил и для чего жил шестьдесят долгих лет он, Тарас. Но об этом лучше не думать. Не думать, не слышать, не говорить.

Уже в сумерках вернулся Тарас к себе на Каменный Брод. Он прошел через весь город - и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах. Пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыши.

Но в Каменном Броде все было, как всегда, тихо. Только соломенные крыши хат угрюмо нахохлились. Во дворах на веревках болталось белье. На белых рубахах пятна заката казались кровью. У соседа на крыльце раздували самовар, и в воздухе, пропахшем гарью и порохом, вдруг странно и сладко потянуло самоварным дымком. Словно не с Острой Могилы, а с работы, с завода возвращался старый Тарас. В палисадниках, навстречу сумеркам, распускались маттиолы - цветы, которые пахнут только вечером, цветы рабочих людей.

И, вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал остро и неожиданно: "А жить надо!.. Надо жить!" - и вошел к себе.

Навстречу ему молча бросилась вся семья. Он окинул ее широким взглядом - всех, от старухи жены Евфросиньи Карповны до маленькой Марийки, внучки, и понял: никого сейчас нет, никого у них сейчас нет на земле, кроме него, старого деда; он один отвечает перед миром и людьми за всю свою фамилию, за каждого из них, за их жизни и за их души.

Он поставил палку в угол на обычное место и сказал как мог бодрее:

- Ничего! Ничего! Будем жить. Как-нибудь... - и приказал

запасти воды, закрыть ставни и запереть двери.

Потом взглянул на тринадцатилетнего внука Леньку и строго прибавил:

- И чтоб никто - никто! - не выходил на улицу без спросу!

Ночью началась канонада. Она продолжалась много часов подряд, и все это время ветхий домик в Каменном Броде дрожал, точно в ознобе. Тонко дребезжала железная крыша, жалобно стонали стекла. Потом канонада кончилась, и наступило самое страшное - тишина.

Откуда-то с улицы появился Ленька, без шапки, и испуганно закричал:

- Ой, диду! Немцы в городе!

Но Тарас, предупреждая крики и плач женщин, строго крикнул на него:

- Тсс! - и погрозил пальцем. - Нас это не касается!

2

Нас это не касается.

Двери были на запоре, ставни плотно закрыты. Дневной свет скупо струился сквозь щели и дрожал на полу. Ничего не было на земле - ни войны, ни немцев. Запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса.

Экономя лампадное масло, Евфросинья зажигала лампадку пред иконами только в сумерки и каждый раз вздыхала при этом: "Ты уж прости, господи!" Древние часы-ходики с портретом генерала Скобелева на коне медленно отстукивали время и, как раньше, отставали в сутки на полчаса. По утрам Тарас пальцем переводил стрелки. Все было как всегда - ни войны, ни немца.

Но весь домик был наполнен тревожными скрипами, вздохами, шорохами. Изо всех углов доносились до Тараса приглушенный шепот и сдавленные рыдания. Это Ленька приносил вести с улицы и шептался с женщинами по углам, чтоб дед не слышал. И Тарас делал вид, что ничего не слышит. Он хотел ничего не слышать, но не слышать не мог. Сквозь все щели ветхого домика ползло ему в уши: расстреляли... замучили... угнали... И тогда он взрывался, появлялся на кухне и кричал, брызгая слюной:

- Цытьте вы, чертовы бабы! Кого убили? Кого расстреляли? Не нас ведь. Нас это не касается. - И, хлопнув дверью, уходил к себе.

Целые дни проводил он теперь один, у себя в комнате: строгал, пилил, клеил. Он привык всю жизнь мастерить вещи - паровозные колеса или ротные минометы, все равно. Он не мог жить без труда, как иной не может жить без табака. Труд был потребностью его души, привычкой, страстью. Но теперь никому не нужны были золотые руки Тараса, не для кого было мастерить

колеса и минометы, а бесполезные вещи он делать не умел.

И тогда он придумал мастерить мундштуки, гребешки, зажигалки, иголки, старуха обменивала их на рынке на зерно. Ни печеного хлеба, ни муки в городе не было. На базаре продавалось только зерно - стаканами, как раньше семечки. Для размола этого зерна Тарас из доски, шестерни и вала смастерил ручную мельницу. "Агрегат! - горько усмехнулся он, оглядев свое творение. Поглядел бы ты на меня, инженер товарищ Кучай, поглядел бы, поплакали б вместе, на что моя старость и талант уходят". Он отдал мельницу старухе и сказал при этом: - Береги! Вернутся наши - покажем. В музей сдадим. В отделение пещерного века.

Единственным, что мастерил он со страстью и вдохновением, были замки и засовы. Каждый день придумывал он все более хитрые, все более замысловатые и надежные запоры на ставни, цепи, замки и щеколды на двери. Снимал вчерашние, устанавливал новые, пробовал, сомневался, изобретал другие. Он совершенствовал свою систему запоров, как бойцы в окопах совершенствуют оборону, - каждый день. Старуха собирала устаревшие замки и относила на базар. Раскупали моментально. Волчьей была жизнь, и каждый хотел надежнее запереться в своей берлоге.

И когда однажды вечером к Тарасу постучал сосед, Тарас долго и строго допытывался через дверь, что за человек пришел и по какому делу, и уж потом неохотно стал отпирать: со скрежетом открывались замки, со звоном падали цепи, со стуком отодвигались засовы.

- Дот, - сказал, войдя и поглядев на запоры, сосед. - Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас. - Потом прошел в комнаты, поздоровался с женщинами. - И гарнизон сурьезный. А этот, - указал он на Леньку, - в гарнизоне главный воин?

Соседа этого не любил Тарас. Сорок лет прожили рядом, крыша к крыше, сорок лет ссорились. Был он слишком боек, быстр, шумлив и многоречив для Тараса. Тарас любил людей медленных, степенных. А сейчас и вовсе не хотел видеть людей. О чем теперь толковать? Он вздохнул и приготовился слушать.

Но сосед уселся у стола и долго молчал. Видно, и его придавило, и он притих.

- Оборону занял, Тарас? - спросил он наконец.

Тарас молча пожал плечами.

- Ну-ну! Так и будешь сидеть в хате?

- Так и буду.

- Ну-ну! Так ты и живого немца не видел, Тарас?

- Нет. Не видел.

- Я видел. Не приведи бог и глядеть! - Он махнул рукой и замолчал опять. Сидел, качал головой, сморкался.

- Полицейских полон город, - вдруг сказал он. - Откуда и взялись! Все люди неизвестные. Мы и не видали таких.

- Нас это не касается, - пробурчал Тарас.

- Да... Я только говорю: подлых людей объявилось много.

- Думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу.

- Да...

И опять оба долго молчали. И оба думали об одном: как же жить? Что делать?

- Люди болтают, - тихо и нехотя произнес сосед, - немцы завод восстанавливать будут...

- Какой завод? - испуганно встрепенулся Тарас. - Наш?

- Та наш же... Какой еще!

- Быть не может! Где же немец руки найдет?

- Тебя заставит.

- Меня? - Тарас медленно покачал головой. - Моими руками завод строился, моими - разрушался. Не будет моих рук в этом деле. Нехай отсохнут лучше.

- Могут заставить, - тихо возразил сосед. Он поднялся с места, сгорбленный, старый, стал прощаться.

- Ну, бувай, Тарас. Живи. Сиди. Гарнизон у тебя сурьезный, - грустно пошутил он уже на пороге.

Тарас тщательно запер за ним двери - на все засовы, на все замки. "Нас это не касается!" - сказал он себе. Но это была неправда. Весть, принесенная соседом, слишком близко касалась его. Дверь запереть можно, душу как запрешь?

Семья и завод - вот чем была жизнь Тараса. Ничего больше не было. Семья и завод. Что же осталось? Семья? Где они, сыны мои, мои подмастерья? Нет сынов. Одни бабы остались. Сурьезный гарнизон. Завод? Где он, завод, цехи мои, мои ровесники? Нет завода. Развалины. Вороньи гнезда.

Что же осталось? Одна вера осталась. Моими руками строилось, моими рушилось, моими и возродится. Фашисты, как болезнь, как лихолетье, помучают и исчезнут. Это временное.

И сейчас впервые с ужасом подумал Тарас: "А что, как надолго?.." И тотчас же отбросил эту мысль. "Того быть не может!" Но она назойливо лезла в душу: "А что, как это навсегда? И завод задымит, как прежде? И, может, еще Гартман объявится или его наследники? И словно ничего не было - ни Клима, ни Пархоменко, ни Острой Могилы, ни эшелонной войны восемнадцатого, ни голодной ярости двадцать первого, ни штурмовых ночей тридцать первого?" Он ходил по комнате, думая

все об одном и том же: "Неужели это навсегда? Неужели подлые руки найдутся?" И отвечал себе: "Может, найдутся, да не мои! Сыны мои в обороне не устояли. Я устою. Я дождусь". И он все ходил да ходил по комнате, и ветхие половицы тихо скрипели под его тяжелыми ногами. А с циферблата древних часов, из-под копыта коня генерала Скобелева, с тяжким стуком падали в вечность секунды, капля за каплей, капля за каплей...

3

Капля за каплей, капля за каплей...

Ровно в шесть часов утра пронзительно резко звенел будильник в комнате Тараса и будил его. Старик торопливо вскакивал и вспоминал: торопиться некуда. Но он вставал и первым делом сверял часы и переводил пальцем стрелки на ходиках, отстающих на полчаса. Начинался день, а с ним и тревоги. И каждый новый день приносил новые тревоги.

Немцы объявили, что все работники бывших городских учреждений обязаны немедленно выйти на работу на свои места. Антонина, жена среднего сына Андрея, сказала об этом Тарасу. Но он только отмахнулся рукой.

- Нас это не касается!

- Но меня касается... - робко возразила она. До немцев она была бухгалтером жилотдела.

- Не касается, не касается! - свирепо закричал на нее Тарас и не стал больше слушать об этом.

Через несколько дней Антонина получила повестку. Городская управа строго предлагала ей явиться на работу. "Началось! - екнуло сердце Тараса. Подлых рук ищут!" Он отобрал у Антонины повестку, скомкал ее и выбросил.

- Не будет моя фамилия служить врагу! Не будет! - закричал он на Антонину, словно она во всем была виновата. - И тебе не позволю. И себе не позволю. Так и знай!

А еще через несколько дней домик в Каменном Броде затрясся от ударов в дверь. Пришла полиция. Запоры Тараса не помогли - пришлось отворять.

Они вошли в его дом как к себе в хату, прямо в комнаты, в шапках, в черных шинелях. На Тараса и не поглядели. Сели без спросу.

- Кто Антонина Яценко?

- Я, - дрожа всем телом, отозвалась Антонина.

- Паспорт!

Она отдала паспорт. Рыжий, кривой на один глаз полицейский взял паспорт и сунул его в карман. Потом молча встал и пошел к дверям.

- А паспорт? - кинулась к нему Антонина.

- Получишь на бирже.

Тарас, еле сдерживаясь от ярости, попробовал было вступиться:

- Не знаю, как величать вас, господин...

Но полицейский сверкнул на него единственным глазом:

- Ты сюда не касайся, старик. Твой черед будет. Ты у меня на заметке! потом рванул дверь так, что замки и цепи загремели. - Ишь, запираются еще от власти! - и вышел.

Пять минут продолжалась эта сцена, а Тарасу показалось, словно двадцать пять лет. Словно отбросило его на двадцать пять лет назад, и опять ночные стуки в Каменном Броде, хриплые голоса через дверь: "Телеграмма!" - и бряцанье шашек о сапоги...

- А я думал, - сказал он, скривив губы и качая головой, - что так и умру, не услышав больше слова "полиция"...

Утром Антонина ушла за паспортом на биржу труда и вернулась только к вечеру. Тарас взглянул на нее и ни о чем не спросил. Спрашивать было нечего.

Антонина молча опустилась на лавку и словно застыла. Так сидела она в сумерках кухни, бессильно опустив руки, и молчала. Бабка Евфросинья подсела к ней.

- Били? - шепотом спросила она.

- Только что не били, а то всего было, - отозвалась Антонина. - За всю жизнь на коленях наползалась.

- Отпросилась?

- От Германии отпросилась, а на службу - идти.

- Идти? - всплеснула руками бабка. - Что старик скажет? Да ты б им, поганым, в рожу плюнула...

- Плюнешь! Как же! Кровью плюют на этой бирже люди. Сама видела. Нет, мама, не героиня я. Я ползала.

В эту ночь она плохо спала. Все чудились ей за стеной тяжелые шаги Тараса. "Ходит и ходит. Ходит и ходит, - мучалась она. - Меня проклинает". А потом мерещился Андрей, весь в крови; он глядел не на нее, а куда-то сквозь нее, словно была она пустая и прозрачная. Она падала на колени перед ним. "Никогда я тебе не изменяла, Андрей, ни душой, ни помыслом". Но он все глядел через нее и ничего не говорил, словно ее не было. А за дверью все звучали шаги Тараса и чей-то насмешливый голос дразнил: "Измена в твоем гарнизоне, Тарас! Измена!"

Утром, собираясь на службу, она старалась не встречаться глазами с Тарасом, но всею кожей чувствовала, как он следит за ней. Следит молчаливым, тяжелым взглядом - никуда от него не скрыться.

И, уходя уже, взявшись рукой за щеколду двери, Антонина умоляюще произнесла:

- Не судите меня, Тарас Андреич!.. Я... я не могу, когда бьют...

4

"Я не могу, когда бьют". Она жила теперь в вечном страхе и ожидании ударов. Каждый громкий окрик заставлял ее спину вздрагивать. Спина была сейчас самой чуткой частью ее тела. Все притупилось и одеревенело в ней. Только спина жила.

День на бирже труда лишь оглушил и растоптал ее, все остальное пришло потом.

Служба в жилотделе управы сначала успокоила ее. Работать никто не хотел. Сидели грызли семечки. Шелуху сплевывали в пустые ящики письменных столов.

- Плюйте, девочки, плюйте, - говорила им Зоя Яковлевна, главбух отдела. - Только убедительно вас прошу, когда немец войдет, делайте вид, что вы работаете. Делайте вид, убедительно вас прошу.

Но появлялся комендант. Требовалось вставать и кланяться, и ждать, пока немец ответит кивком. Он медлил. Он нарочно медлил. Обводил ледяным взглядом спины, ждал, пока склонятся еще ниже.

- Ниже, ниже! - шептали Антонине подруги. Она не умела кланяться, она никогда не кланялась так. И спина ее начинала дрожать, ожидая удара.

У старика архитектора была одышка. Когда он склонялся в поклоне, кровь приливала к его дряблым щекам, и его начинал мучить кашель. Он давился им и склонялся еще ниже. "Когда-нибудь я так и умру!" - думал он при этом.

Наконец комендант отвечал небрежным кивком и проходил мимо, к себе. Антонина старалась не глядеть на подруг, подруги не глядели на нее. Старик архитектор грузно опускался на стул и принимался долго и мучительно кашлять.

Постепенно Антонина успокаивалась, только спина настороженно вздрагивала при каждом стуке дверей. "Только бы не били! Только бы не били!" Подруги успокаивали ее: "Дурочка, кто же станет нас бить? Мы же служащие городской управы". Городская управа казалась им убежищем.

Но однажды утром в жилотдел ворвался синий от злости немецкий лейтенант. Брызгая слюной, он кричал что-то бессвязное и все тыкал в свои часы. Инженер Марицкий попытался объясниться с ним. Дрожа всем телом, он бормотал, что через полчаса, всего через полчаса, рабочие придут на квартиру господина лейтенанта и сложат печь. Он сам, инженер, придет и, если угодно, сам все сделает. Если он и опоздал на полчаса - всего на полчаса, господин лейтенант, - то только потому, что господин полковник приказал послать людей на его

квартиру, а рабочих рук нет, и хотя мы объяснили господину полковнику, что господин лейтенант...

Лейтенант слушал его оправдания и медленно расстегивал свой поясной ремень. "Что он хочет делать? - удивлялась Антонина. - Зачем он расстегивается?" - И вдруг услышала свист ремня в воздухе и крик. И тогда она сама закричала в ужасе и закрыла лицо руками. Ее спина мучительно заныла, словно это били ее. А в воздухе все свистел и свистел ремень и с тяжелым стуком падал на что-то мягкое.

Все, кто был в комнате, отвернулись или потупились, чтобы не видеть, как хлещут ремнем большого, взрослого, всем в городе известного человека. Было стыдно... Было невозможно смотреть. И только молоденькая Ниночка, счетовод, широко раскрытыми от удивления и ужаса глазами смотрела на эту сцену. Впервые в своей жизни видела она, как бьют человека.

А немец все продолжал и продолжал хлестать Марицкого ремнем, и теперь уже не со злобой, а методично, деловито, как машина, по лицу, плечам и спине. Инженер стоял перед ним согнувшись, большой, широкоплечий. Он не уклонялся от ударов, не кричал, не плакал. Он только втянул голову в плечи, съежился и старался руками закрыть лицо. Плечи его вздрагивали.

Странная тишина царила в комнате. Молчали люди у своих столов. Молча бил немец, молча принимал удары инженер. Страшное, постыдное молчание.

Потом немец спокойно и медленно надел ремень, одернул мундир и вышел. Все продолжали молча стоять у своих столов. Антонина плакала. Марицкий смущенно поднял глаза. Он попытался улыбнуться, чтобы скрыть смущение и боль, но мускулы его лица судорожно дрогнули, не выдержали, и вместо улыбки получилась жалкая, больная гримаса. Он закрыл лицо руками и разрыдался при всех.

С тех пор и стала вздрагивать спина Антонины при каждом громком окрике, при стуке дверей, при звоне шпор на лестнице. Она не ходила теперь по улицам, а шмыгала. Прижималась к стенам. Боялась перекрестков. Она теперь всех боялась, даже Тараса. Ей было страшно в городе, вчера еще, до немцев, родном и веселом. Ей было страшно дома, вчера еще, до немцев, уютном и милом. Ей было страшно на земле.

Она плакала теперь часто и по всякому поводу. Плакала на службе, плакала дома, глядя на Марийку, дочку, плакала в постели, слыша шаги Тараса. Она подурнела и состарилась от слез. Боялась глядеться в зеркало. "Нельзя плакать! - убеждала она себя. - Я совсем стану старой. Как я покажусь Андрею, когда он вернется?" Но при мысли об Андрее она снова принималась

плакать.

А за стеной всю ночь напролет шагал Тарас. Его шаги гулко отдавались в скрипучей тишине домика. "Все ходит и ходит. Все ходит и ходит. Меня проклинает".

Но Тарас теперь редко думал о ней.

5

Он думал теперь о Насте, о дочке. Он следил за нею тайком, исподлобья, острым, внимательным взглядом. Она удивленно спрашивала:

- Вы чего, папа?

- Ничего, - отвечал он и вздыхал.

Но какая-то тайная мысль мучила его, не давала покоя. Он спросил однажды жену, недовольно морщась:

- Не пойму я, мать, вроде наша Настька красивой стала? А?

- Хорошая, - гордо ответила Евфросинья. - И похвалить не грех хорошая.

- Да-да... - горько вздохнул Тарас. - И я гляжу...

В другой раз он спросил:

- А сколько ей лет... нашей Настьке-то?

- Восемнадцать, отец. Неужели забыл?

И опять он тяжко вздохнул.

- Да, восемнадцать, как забыть, помню. Ох-хо-хо!

Раньше Тарас и не замечал Насти среди других ребят, наполнявших дом. Своя и чужая детвора шумела и возилась во всех углах, он глядел только, чтоб его инструмента не касались. Всем остальным занимались школы да комсомолы. Дети росли, стаптывали сапоги, сами находили свое счастье. А сейчас никого не было - ни комсомола, ни школы. Он был один, Тарас, - глава фамилии. И судья и учитель. Он один отвечал за души детей.

На беду, некстати, не ко времени вдруг расцвела и созрела в эту горькую весну Настя. Налилось весенним соком тело, стало упругим и жадным. Пришла ее пора любить, страдать, ждать своего девичьего счастья.

Какого счастья? У Тараса сердце ныло, когда он глядел на Настю. Ее дома не видно было и не слышно. Она ходила тихо, и работала тихо, и разговаривала тихо, больше молчала. Сядет у окошка, на лавку, и - молчит. Сидит и молчит. "Почему молчит?" - мучился он. Сидит и молчит. Сидит и молчит. И странно так, тяжко молчит, о своем думает. О чем? О каком счастье мечтает? Молчит все.

Он следил за каждым ее шагом.

- Не ходи на улицу, - строго говорил он, заметив, что она надевает платок.

- Хорошо, - покорно отвечала она, аккуратно складывала

платок и садилась у окошка на лавку. А он ходил тяжелыми шагами по дому и мучился. Потом напускался на дочь.

- Ты чего сиднем сидишь? Пойди прогуляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по времени!

И она покорно надевала старенькое, повязывала голову рваным платочком, обувала стоптанные туфли. Но и из этих обносков, всему наперекор, неукротимо и победно рвалась ее молодая краса. И Тарас тревожно вздыхал: "Вот до чего дожил! Красе родной дочери не рад!"

Но душа ее оставалась для него загадкой. "Что они за племя такое, что за народ эти молодые, нынешние?" Совсем он их не знал. Незнакомое племя. Но и не зная, он сомневался в них. "Где уж им! На папашины деньги учились, горя не видели, с Александром Яковлевичем Пархоменко в поход не хаживали, почем фунт лиха - не знают". И теперь он проклинал себя, что раньше детьми не занимался, и как с ними говорить - не знает, и как в их душу войти - не знает, а отвечать за них перед людьми и миром придется ему.

- Ты чего молчишь? Чего молчишь все? - крикнул он однажды на дочь.

Настя удивленно подняла глаза и, пожав плечами, ответила:

- А чего мне говорить, папа? Вы спрашивайте.

А он и не знал, о чем и как ее спросить. Он присматривался к Настиным подругам строго и придирчиво. Всякие были, хорошие и плохие. Но одну он люто невзлюбил, Лизку. Впрочем, она уже называла себя Луизой.

Когда Тарас впервые заметил и разглядел это взбалмошное существо, он от удивления даже рот раскрыл. И наряд на Луизе был какой-то пестрый, крикливый, и юбка выше колен, и прическа какая-то не русская - белобрысые локоны как-то смешно и нелепо скручены на лбу, - и все в ней было и не русское, и не немецкое, а какое-то обезьянье.

- Ты чья такая? - уставился на нее Тарас.

- Антона Лукича дочка... Луиза, - бойко ответила Лизка.

- Брысь, паскуда! - гаркнул Тарас. - Вот я твоему отцу, старому дураку, скажу, чтоб он тебя выдрал. - Но тотчас же опомнился и украдкой виновато глянул на Настю. Настя молчала. Тарас хлопнул дверью и вышел.

Луиза, однако, продолжала бывать в доме Тараса. Сначала она старика побаивалась, околачивалась где-то на кухне, поближе к порогу, разговаривала с женщинами шепотом и все поглядывала с опаской на двери Тараса, - ее самое еще смущали и наряд, и локоны; потом она осмелела, обнаглела даже. А однажды набралась храбрости и напустилась на Тараса:

- Вы что ж, Тарас Андреевич, Настю на улицу не пускаете? Ее дело молодое, ей гулять хочется.

Тараса чуть удар не хватил от бешенства. Но он сдержался. Подошел к Насте и посмотрел на нее грустным-грустным, долгим взглядом.

- Тебе гулять хочется, дочка? - спросил он ласково, так ласково, как никогда не говорил с ней, и голос его дрогнул.

Она удивленно подняла на отца глаза и тотчас же опустила их.

- Нет, папа.

- Слышишь? - обратился к Лизе Тарас. - Не хочется ей гулять. Не такое, Лиза, время, чтоб гулять.

- Измена! - фыркнула Лизка.

- Измена, - так же коротко и серьезно ответил Тарас. - Хуже измены. Вот умер бы у тебя отец, горе в доме, пошла б ты гулять? А у нас нынче в каждом доме - горе. Не до гулянок. Не простят нам наши, если мы гулять тут будем.

- Война все спишет!

- Нет! - убежденно покачал головой Тарас. - Нет, врешь, Лиза. Не спишет. Все запишет война. Ничего не простит, ничего не забудет. Поимей это в виду, девушка! Вернутся наши, поставят нас перед собой и своими чистыми глазами в душу глянут. В самую душу. И все увидят: кто ждал, кто верил, а кто - продал, забыл. Когда ж они придут?

- Не могу тебе сказать, девушка. Но придут. И имей в виду - обязательно придут.

- А молодость пройдет! - вздохнула Лизка. - Самая лучшая пора пройдет. Наши вернутся и на нас, старух, глядеть не станут. Нет, - тряхнула она локонами, - уж лучше хоть как-нибудь, а отгулять...

А Настя молчала.

Откуда-то из темноты вынырнул Ленька - главный воин гарнизона Тараса и, озорно усмехаясь, сказал:

- Дедушка! Тут про таких, - он сверкнул на Лизку глазами, - песня сложена, в городе поют. Я всю знаю.

- Какая песня?

- Называется "Позор девушке, гуляющей с немцем". Он встал в позу и мальчишеским звонким голосом запел:

Молодая девушка немцу улыбается.
Позабыла девушка о своих друзьях.
Только лишь родителям горя прибавляется,
Горько плачут бедные о милых сыновьях.
Молодая девушка, скоро позабыла ты,
Что когда за родину длился тяжкий бой,

Что за вас, за девушек, в первом же сражении
Кровь пролил горячую парень молодой.
Где-то там над речкою, над широкой Волгою,
Был убит за родину молодой герой.
Только ветер волосы развевает русые,
Словно их любимая теребит рукой.
Вымоет старательно дождик кости белые
И засыплет медленно мать сыра-земля
Так погибли юные, так погибли смелые,
Что дрались за родину, жизни не щадя
Лейтенанту-летчику молодая девушка
Со слезами верности весною поклялась,
Но в пору тяжелую сокола забыла ты
И за пайку хлеба немцу продалась
Под немецких куколок прическу ты сделала,
Красками накрасилась, вертишься иглой.
Но не нужны соколам краски твои, локоны,
И пройдет с презреньем парень молодой.
Да, вернутся соколы, смелые, отважные.
Как тогда ты выйдешь молодца встречать?
Ведь торговлю ласками и торговлю чувствами
Невозможно, девушка, будет оправдать...

Слушая эту песню, бабка Евфросинья вздыхала. Антонина тихо плакала, Лиза краснела и ежилась, а потом вдруг сама разрыдалась и выбежала вон.

А Настя побледнела и сказала:

- Не все девушки такие. И другие бывают.

Больше она ничего не сказала. И опять не мог понять Тарас, что за этими словами скрыто, как не понимал раньше, что скрывается за ее молчанием. О чем она думает, о чем молчит, чего ждет? "Ох-хо-хо! - вздыхал он. - Посматривать за нею надо, посматривать!"

Да как уследишь за ними! Даже бабка Евфросинья ушла тайком куда-то утром и вернулась только в обед, злая, весь день плевалась и грохотала горшками.

- Ты чего плюешься, чего плюешься? - не выдержав, спросил Тарас. - Ты где все утро была?

- В церкви.

- Ну?

- Тьфу!

- Что ж тебе не понравилось в божьем храме? - усмехнулся Тарас.

- Тебе, безбожнику, все одно.

Но вездесущий Ленька вылез и тут:

- Ей, дедушка, поп не понравился.

- Поп? Какой поп?

- А немцы своего попа поставили.

- Откуда ж взяли?

- А из сада. Костя, что в саду в билльярдной шары подавал, теперь немецкий поп.

- Костя? Этот старый пьянчуга - поп? - удивился Тарас и посмотрел на жену. Евфросинья молча двигала горшками в печи. Тарас рассердился.

- Над тобой немцы издеваются, дура. Над богом твоим, над храмом твоим и над верой твоей, а ты ходишь. Молись дома, если надо, а к немецкому попу не ходи! Слышишь?

В другой раз, вечером, вся в слезах пришла Антонина. Была в кино. Пошла с подругами, чтоб не идти домой: в этот вечер она особенно боялась Тараса, ее измучили его шаги за стеной.

В кино показывали немецкую военную хронику. Под пронзительные вопли фанфарных маршей двигались по экрану немецкие танки, били немецкие пушки. По всем углам зала сидели полицейские в черных шинелях и настороженно, как кобчики, следили за публикой: боялись демонстраций. Но никто не кричал, не свистел, не шикал. Случилось другое, странное: зал начал плакать. И чем громче били пушки, тем горше рыдал зал.

Немцы никак не могли понять, отчего русские женщины плачут, когда на экране так весело, совсем не как на войне, бьют пушки. Офицеры злились на русских женщин, а русские женщины плакали все громче и громче. Каждой казалось, что это в ее мужа, сына, брата бьет немецкая пушка. И каждая плакала о своем. Кричать было нельзя - они плакали.

Офицер из гестапо не выдержал, вскочил и заорал:

- Прекратить слезы! Здесь не похороны! Улыбайтесь! Улыбайтесь же, русские свиньи!

Зажгли свет в зале. Из всех углов выползли полицейские. Офицер, размахивая стеком, кричал:

- Улыбайтесь, ну! Улыбайтесь, свиньи, свиньи!

А женщины продолжали плакать...

- Что ж ты не улыбалась? - криво усмехнулся Тарас, выслушав рассказ Антонины. - Раз уж пошла в немецкое кино - улыбайся! А со своими слезами дома сиди. Не видишь разве - издеваются фашисты над твоими слезами!

Они над всем издеваются - над Евфросиньиной верой, и над Антонининым горем, и над молодостью Лизы-Луизы, и над ее локонами; они все топчут, они и Настю растопчут, если не уберечь, и Леньку, и маленькую Марийку, - раздавят душу каблуками своих кованых сапог и пройдут... Как уберечь, как

уберечь их?

- Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу.

6

Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу...

Тарас "спасался" в своем доме. Он по-прежнему сиднем сидел дома, за закрытыми ставнями. Что там творилось в городе - того он не знал.

Но город властно тянул его, звал, мучил: ты видел меня в славе, погляди - вот я распят на кресте. Коснись моих ран, Тарас. Раздели мои муки.

Он не мог больше сидеть за замком, взял палку и пошел.

И вот открылся перед ним город на холмах, ни на какой другой в мире не похожий, но такой, каким был всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же улицы, падающие с окраин вниз, в центр; те же дома под железом и черепицей, те же акации в городском саду. И так же, в назначенную пору, летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши. Как снег. Как теплый, розовый снег.

- Все, как было! - горько покачал головой Тарас. - Все, как было!

А хозяином в городе - немец!

Оскорбленный и потрясенный шел Тарас по городу. "Что ж это за люди? Что ж это за люди?" - гневно думал он и только сейчас заметил, что людей на улицах нет. Пусто и тихо. Так тихо, словно не в городе, а на кладбище. Словно у города вырвали язык, и не может он ни кричать, ни петь, ни смеяться, а только тихо стонет, как глухонемой, которому от его немоты больно.

Какие-то тени мелькают вдоль заборов, торопливо перебегают перекресток, скрываются в подворотнях. Где-то там, за закрытыми ставнями, шевелится, ворочается жизнь, но ни громкий голос, ни песни, ни плач не пробиваются сквозь щели. Даже дым из печей - тощий и бледный: может быть, оттого, что топить нечем; может быть, оттого, что варить нечего. Дымок подымается, дрожит в небе и тает быстро и пугливо.

Мимо Тараса пробежало несколько знакомых, он окликнул их почему-то шепотом, - словно и на него уже действовала настороженная тоскливая тишина улиц, и он уже говорил шепотом в своем родном городе, - они не услышали его и не обернулись. У людей появилось какое-то странное движение шеей, такого и не было никогда: быстрое, испуганное от привычки озираться. Люди боялись встреч.

Подле пепелища городского театра Тарас лицом к лицу

столкнулся с доктором Фишманом, лечившим всех его детей и внуков. Тарас по привычке снял картуз, чтобы, как всегда, поздороваться, но увидел на рукаве Фишмана желтую повязку с черной шестиугольной звездой - клеймо еврея - и поклонился низко-низко, как не кланялся никогда.

Этот поклон испугал врача. Он отпрянул в сторону и инстинктивно закрылся рукой. Тарас молча стоял перед ним.

- Это вы мне... мне поклонились? - шепотом спросил, наконец, врач.

- Вам, Арон Давидович, - ответил Тарас. - Вам и мукам вашим.

- А... да... да... - растерянно пробормотал Фишман. - Здравствуйте... Мое почтенье... Как поживаете? Я - ничего себе... - Но что-то сдавило вдруг его горло, он взмахнул руками и вскрикнул: - Спасибо вам, человек! - и побежал прочь не оглядываясь.

Тарас долго смотрел ему вслед. На пустынной улице все маячила согбенная спина врача, подпрыгивала и дергалась... А вокруг, как всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же дома под железом и черепицей; и улицы, падающие с окраин вниз, в центр, и акации в городском саду. И так же, как всегда, в назначенную пору летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши, как снег.

"Куда же тебе еще пойти, Тарас? На что тебе еще поглядеть? Не довольно ли видел?" Но он все шел да шел по мертвым, распятым улицам города, из которого вырвали веселую живую душу. Вырвали и растоптали. И нет ее, ничего нет, - город глухонемых и нищих.

Один Тарас идет, и громкий стук его палки о камни тротуара будит и скликает воспоминания. Они, как эхо, слетаются к нему со всех сторон, от каждого камня, от каждого дома, с каждого перекрестка. Здесь он родился. Здесь женился. Здесь состарился. Бывало, здесь, на площади, шумели горячие митинги. Клим говорил, потрясая рукой. Пархоменко уходил отсюда в бессмертие. Комсомольцы пели "Паровоз" и делали паровозы. И день и ночь висели над городом веселый звон железа, и песня за рекой, и детский смех в саду.

Нынче все стихло: задавили песню, расстреляли смех. Воспоминания единственно живое, что оставалось здесь.

Тарас и не заметил, как нечаянно забрел на базар. Бывало, скрипели тут возы и суетились, толкались люди; башни полосатых арбузов высились рядом с горами теплого, дымящегося мяса; в горшечном ряду сияли глиняные солнца обливных макитр, глечиков, кувшинов; продавец игрушек на все лады

пробовал свои свистульки, - незатейливая музыка вплеталась в базарный гам; и, покрывая все шумы, голоса, свисты и скрипы, гремел над базаром отчаянно ликующий, радостный, оголтелый крик петухов из птичьего ряда, - без петуха нет базара.

И хоть был Тарас заводской человек, базары он любил. Он любил в воскресенье, после получки, приходить сюда с женой и важно шествовать вдоль рядов, чувствуя себя хозяином всех вещей, выставленные на продажу. Он все мог купить. Базар был богат, но богат был и Тарас-мастер.

Сейчас покупать было нечего и не на что. У редких возов стояли понурые очереди: постаревшие, осунувшиеся женщины в стоптанных туфлях, небритые мужики, обросшие седой щетиной. На лотках одиноко лежали бородавчатые картофелины, похожие на старушечьи лица, и сморщившаяся морковка, недоступная, как заморский апельсин. Здесь зерно продавали стаканами, картофель - штуками, сахар - кусочками, - горькою мерою нищеты.

Нищета разоренных сел пришла сюда, на базар, и встретилась с голодной нищетой распятого города. Нищета принесла на базар все, что еще можно было выскрести со дна заветных сундуков. Подвенечное платье с увядшими цветами, кацавейку, усыпанную серебряной мишурой нафталина, потертый коврик, детское одеяльце с голубыми ленточками, последнюю рубаху с тела. А те, у кого и этого не было, принесли на рынок совсем бесполезные, никому не нужные вещи: подсвечники, поржавевшие от старости и плесени, зеленые самовары с побитыми боками, детские игрушки - какого-нибудь облезшего плюшевого зайца или нелепо счастливую куклу.

Владельцы этих никому не нужных вещей и сами сознавали их ненужность и даже не предлагали их покупателям. Молча стояли они весь день на рынке, вытянув перед собой свои тускло-зеленые подсвечники, и с тоскливой мольбой глядели на прохожих. И казалось, каждая вещь кричит за своего хозяина: "Купите! Это последнее, что у него есть. Завтра он умрет с голода".

Страшный язык нужды! Перед Тарасом словно вывернули внутренности города, сведенного судорогой голода и отчаяния. Он узнавал людей и вещи, тени людей, обломки вещей. Эти самовары он видел некогда на чайных столах в палисадниках, под тихими акациями; мирные, счастливые субботние чаепития! Он узнавал коврики, безделушки с комодов, камчатные скатерти, фарфоровые статуэтки, патефонные пластинки - символы простого, сытого счастья. Он знал, что за этими символами скрыта частная жизнь целого поколения. Нынче это за горсть

зерна продается на рынке. Нищий покупает у нищего, голодный обменивается с голодным. Они делают это молча. На толкучке не слышно былого шума, нет веселой суеты. Тишина отчаяния. Какой-то пожилой человек в пенсне и с пустой кошелкой долго стоит перед лотком с картошкой, потом медленно снимает с себя пиджак, вертит его в руках, зачем-то встряхивает и отдает продавцу. Тарас узнает человека в пенсне и отворачивается. Это директор техникума, где учился Никифор.

Тарас встречает здесь много знакомых, - горькие встречи! Люди не узнают друг друга, всем стыдно и скверно. Знаменитый мастер литейного цеха продает свой патефон-премию. Химик из заводской лаборатории торгует самодельными спичками. Где-то здесь и Евфросинья меняет на хлеб замки Тараса.

Тут же на базаре, под ногами живых людей, где-нибудь у тротуара, лежат, скорчившись, мертвые. Живые осторожно обходят их и отворачиваются, стараются не глядеть, - в стеклянных глазах покойника им чудится их собственный завтрашний день. В городе привыкли к мертвым.

Растрепанные цыганки в грязных цветастых платках пристают: дай погадаю! Мужчины грустно отмахиваются. Бабы соглашаются. Озираясь по сторонам, нет ли немца или полицейского, гадалки бормочут страстным, убежденным шепотом:

- Твой сокол жив, голубушка. Жди, вернется. Многие муки принял он. В реке тонул - не утонул, в огне горел - не сгорел, враг его не убил, и пуля не взяла, и бомба пролетела, не задела. Вернется он, голубушка, с первым снегом, по санному пути, ты надейся.

- Дай-то бог, - вздыхают и крестятся бабы.

Подле слепца, гадающего по выпуклой книге, особенно много баб. Слепец водит пальцами по невидимым буквам и пророчит. Бабам жутко.

- Кровавые реки прольются, - монотонно читает слепец, - и в тех реках захлебнется враг рода человеческого. И случится это... - он с усилием нащупывает выпуклые буквы, а бабы, замерев от страха и надежды, ждут ответа.

Над базаром, как и над городом, висит больная, немощная тишина: голосам и звукам не хватает силы, словно здесь не люди бродят, а призраки. И только итальянские солдаты торгуют шумно и весело. Они великолепны, эти королевские мушкетеры в шапочках с перьями, когда, обвешанные бабьими тряпками и барахлом, кипят они в торговом азарте, продают свое и ворованное, меняют, покупают и тут же продают купленное.

Но вдруг взламывается, раскалывается тишина базара. Кто-то

исступленно крикнул: "Облава!" - и все всполошилось и заметалось вокруг. Мимо Тараса побежали люди. Он увидел искаженные ужасом лица. Он услышал выстрелы и вопли. Кого-то били головой о мостовую. Страшно кричала женщина с рассеченным лбом, ее черные волосы слиплись от густой крови. Над базаром низко и тревожно летали галки. Схваченный автоматчиками парень бился в железных лапах, не веря еще тому, что схвачен. Он рвался из цепких рук молча и исступленно, скрипел зубами, не желая тратить силу в бесполезных криках, но все его большое тело кричало, выло о свободе и рвалось из плена. Его били зло, ожесточенно, а он все рвался, все не верил, что это конец. И вдруг, обессилев, обмяк и затих. В последний раз обвел парень страстно-тоскующим взором вольный мир молодости. Все было кончено для него. Теперь Германия, каторга, и - вероятнее всего - смерть.

А мимо Тараса все бежали и бежали охваченные ужасом люди. Они бежали, вины за собой не чуя. Вся вина их была в том, что они - люди, а это охота на людей. И Тарас был человек, и за ним охотились, и он бежал, хрипя и задыхаясь, ожидая, что вот-вот лопнет, не выдержав, сердце. Он вбежал в какую-то подворотню и там перевел дух. Мимо него пронеслась вся свора и где-то затихла вдали.

Под воротами и во дворе столпилось много людей. Все они тяжело дышали. Кто-то сказал, сплевывая кровь:

- Автоматов бы нам! Автоматов!

- Ничего! - отозвался Тарас. - И топоры годятся.

По улице прошел эсэсовский патруль, и все затихли. В тишине было слышно, как стучат о камни тротуара кованые сапоги немцев. Казалось, камни стонут под сапогами, камни кричат. А из всех окон, щелей, ворот глядят вслед глаза, горячие, ненавидящие... Гитлеровцы идут по мертвым улицам. Пустынны площади. Молчит глухонемой город. Страшная тишина висит над ним - тишина затаенной ненависти. В этой тишине - как проклятье, как кошмар, как бред цокот кованых сапог о камни. И, заслышав этот цокот - днем ли, ночью ли, испуганно замирает жизнь, прячется все живое, затихают дети, скрываются в погреба женщины. Мужчины сжимают кулаки: не за мной ли? Не мой ли черед? Уже невозможно слышать этот тяжелый ненавистный стук сапог.

Над городом висит этот страшный солдатский запах - запах казармы и вонючего табака.

Жить было невозможно.

7

Жить было невозможно.

На семью Тараса еще не обрушился топор фашистов. Никого не убили из близких. Никого не замучили. Не угнали. Не обобрали. Еще ни один немец не побывал в старом домике в Каменном Броде. А жить было невозможно.

Не убили, но в любую минуту могли убить. Могли ворваться ночью, могли схватить средь бела дня на улице. Могли швырнуть в вагон и угнать в Германию. Могли без вины и суда поставить к стенке; могли расстрелять, а могли и отпустить, посмеявшись над тем, как человек на глазах седеет. Они всё могли. Могли - и это было хуже, чем если б уж убили. Над домиком Тараса, как и над каждым домиком в городе, черной тенью распластался страх.

Законов не было. Не было суда, права, порядка, строя. Были только приказы. Каждый приказ грозил. Каждый запрещал. Приказы точно определяли, каких прав лишен горожанин. Это была конституция лишения прав человека. Человеческая жизнь стала дешевле бумажки, на которой было напечатано: карается смертью.

Дом больше не служил убежищем человеку. Замки не оберегали ни его жизнь, ни его имущество. Люди редко жили или спали в домах. Они прятались в погребах и сараях. Заслышав цокот кованых сапог, они забивались в щели. Если б были пещеры в городе, люди ушли бы в пещеры, зарылись бы в норы, только б не жить под "новым порядком".

Вся жизнь обывателя состояла теперь в том, чтобы спрятаться. Спрятаться от немца, посторониться, когда он шагает по улице, укрыться, когда он входит к тебе в дом, уклониться, когда он тебя ищет.

А гитлеровец шагал и шагал по городу, выпятив грудь, вытянув, как цапля, ноги, надвинув на низкий лоб каску, шагал с тупым воодушевлением автомата и все давил, мял, топтал, - жить было невозможно.

Жить было невозможно, но надо было жить.

Как жить? От этого вопроса нельзя было отмахнуться. Нельзя было сказать себе: "Нас это не касается". Перед каждым человеком в городе встал этот вопрос: как жить, что делать? И каждый человек должен был сам его решить для себя и для своей совести.

Теперь часто по вечерам приходил к Тарасу сосед, Назар Иванович. Сорок лет прожили рядом, крыша в крышу, сорок лет ссорились. А сейчас общая беда соединила их, - сидели все вечера вместе, курили, вздыхали...

Обычно разговор начинал Назар. Беспокойный человек, он целыми днями слонялся по городу.

- Иду я сегодня по улице, - рассказывал он, - вижу, тротуары чинят. Сердце у меня так и упало. Боже ты мой, думаю, неужто

навсегда, навеки упрочается в нашем городе немец?

- Этого быть не может. Тротуары! - фыркал Тарас. - Тротуары видимость. Тротуар они могут переделать, а душу мою переделать могут? Могут они меня или тебя в немцев превратить? Память мою они вытоптать могут? Нет! - он с силой качал головой. - Нет, не хозяева они в нашем городе пришельцы. Как пришли, так и уйдут.

Назар пожимал плечами.

- Давно и стрельбы не слышно и самолетов наших не видать. Хоть побомбили бы нас, что ли, все на душе веселее б стало. Далеко фронт ушел, ох, далеко! Под Волгу.

- Фронт ушел, фронт и придет. Верить надо.

- Ох, верить, верить!

Махорочный дым полз по низкому потолку, бился о ставни...

- Как жить, Тарас Андреич? - тоскливо спрашивал Назар. - Нет, ты мне сказки: как жить? Что делать?

- А это решай каждый, как совесть велит, - отвечал Тарас.

- Совесть драться велит! А драться чем? Безоружные мы с тобой старики, Тарас.

- Топор есть - стариковское оружие, верное. - Тарас задумчиво качал головой. - К партизанам бы путь найти! Хоть и стары мы с тобой, Назар, а все послужили б! - Наклонялся к Назару и шептал: - Надо выход душе дать, ой, надо! Терпеть, Назар, у меня мочи нет.

И каждый человек в городе о том же думал: как жить, боже мой, как же жить, что делать?

8

- Если я правильно понимаю политическую обстановку, - сказал своей жене Старчаков Яков Васильевич, бывший завхоз треста, - сейчас настало мое время, время коммерции. Мы открываем комиссионный магазин.

Жена не удивилась. Она знала, что в заячьем теле ее мужа живет душа тигра. Может быть, и в самом деле настало время Старчаковых - золотое время частной коммерции? В местной газете появилось объявление: "С разрешения немецкого командования господин Старчаков открывает комиссионный магазин". Объявление было набрано жирным шрифтом.

Ковры и подсвечники изменили свой маршрут, они плыли теперь не на рынок, а в магазин Старчакова. Они плыли густой и плотной массой, как бревна по реке в большую воду. Старчаков не успевал выписывать квитанции. Он ликовал. Он принимал, щупал, ласкал, оценивал вещи. Ему казалось, что все эти вещи принадлежат ему. Ему уж было тесно в этом городишке. Он мечтал о магазине в Берлине на Унтер-ден-Линден.

Вещи запрудили маленький магазин. Старчаков объявил, что прием вещей на комиссию прекращен. Теперь он ждал покупателей. Покупателей не было.

Он ходил по своему магазинчику, переставлял вещи в витрине, ждал. Он ждал покупателей. Покупателей не было. Коммерция не произрастала на скудной почве голодного города. Комиссионера все чаще стало искушать странное желание: взять и повеситься на антикварной люстре, среди текинских ковров, которые все хотят продать, а никто купить не может.

В местной газете появилось новое объявление: "С разрешения немецкого командования господин Старчаков ликвидирует свой комиссионный магазин. Просьба ко всем сдавшим вещи на комиссию получить их обратно". Объявление было набрано бледным петитом. Между этими двумя объявлениями протекла и отшумела вся недолгая карьера первого поднемецкого коммерсанта: его величие и падение.

Когда владельцы вещей, сданных на комиссию, явились за своими вещами, они увидели: магазин был пуст. Немцы "конфисковали" вещи; ненужные переломали. Под ногами хрустели осколки фарфора. На стене, на одном крюке, качалась распоротая ножом картина: "Бой у Острой Могилы".

Эту картину написал местный художник. Он издавна жил и работал здесь. Во многих дворцах культуры, клубах и школах висели его панно. Каждое воскресенье, бывало, он ходил на свидание с ними. Он надевал праздничный пиджак и шляпу. "Я иду на свидание с моими детьми", - говорил он. Они жили теперь своей жизнью - его картины, его дети. Каждая имела свой возраст, свой характер, свою биографию. Одни дались ему легко, другие, рождаясь, измучили его. Он любил их неодинаковой любовью - одних больше, других меньше. Были любимцы и были уродцы. Но все они были дороги ему.

Когда немцы обосновались в городе, он захотел узнать, что сталось с его детьми.

И он их увидел. Растоптанные, загаженные, вырванные из рам, они корчились и умирали на свалке; ему осталось только плакать над их трупами.

Он хотел умереть в эту ночь, его спасли близкие. Кто-то сурово сказал ему:

- Вы должны жить, чтоб написать то, что видели. Страшную картину должны написать вы для потомков.

- Да, да... - бормотал он. - Надо жить... Надо жить...

Он не умер. Он остался жить, чтобы видеть и запомнить. Он бродил по улицам, кладбищам, пустырям и видел страшные картины. Но сейчас он не мог писать: его руки были в плену, его

тело было в плену, и только память художника, горячая, честная, была свободна и проклинала скованные цепями руки.

Чтобы не умереть с голоду, он писал пестрые акварельки, изображавшие украинский пейзаж, каким он никогда не был, но только это и покупали итальянские солдаты. Им нравились акварельки, намалеванные художником. Они посылали их в Италию: вот земля, которую завоевал ваш сын.

Механически фабриковал художник эти мельницы, речки и хатки, а в воскресенье на базаре продавал их поштучно и оптом, как продают капусту. Надо жить, надо жить, говорил он себе. Надо жить, чтобы видеть и запомнить.

Однажды его пригласили в гестапо.

- Нам нужны хорошие художники, - сказали ему там. - Пишите для нас плакаты, и мы сделаем вам сытую жизнь.

Он усмехнулся.

- Я не умею писать плакаты. Только акварельки... речка... хатки...

- Жаль. Вы могли бы быть сыты.

- Я сыт, - задыхаясь, ответил он. - Я по горло сыт. - И вспомнил свои картины, распоротые фашистскими ножами.

Он пришел к себе домой в мастерскую и там один, в пустой, гулкой комнате, долго плакал. Плакаты? Да, я умею писать плакаты. Я буду писать плакаты. Я сам буду развешивать их на площадях. Я сам готов висеть рядом с ними. Страшные плакаты буду я писать!

Распятый, окровавленный город. Вокзал, омытый слезами. Синие руки матерей. Зеленые вагоны с решетками. Черные тополя, заплаканные, как вдовы. И девушки, прощающиеся с отчизной, с молодостью, с волей. "Плач полонянок" вот как будет называться эта картина. Он станет ее писать не медля. Он не может больше не писать.

Плач полонянок. Он стучится в его уши. Он стучится в его сердце. Над всею Украиною звенит этот горестный девичий вопль. Вдовий плач матерей. Горький крик полонянок.

Все чаще и чаще уходят на запад невольничьи эшелоны. Все пустынней и пустынней становятся города. Из десятого класса "Б", где до немцев училась Настя, шесть девушек уже распростились с родиной. Их везут сейчас в вагонах с решетками. Что ждет их в неволе? Что ждет Настю? Что всех их ждет, девочек из десятого "Б"?

Их было пятеро подруг, боевая пятерка: Настя, Лариса, Лиза, Галя, Мария. В эту весну они должны были окончить школу. Они ходили обнявшись по парку и мечтали. Жизнь казалась им прямой и ясной, как эта аллея, небо близким и доступным, как

вершина этого тополя, будущее - веселым и кудрявым, как эта береза.

Пришли немцы. Под тяжелыми гусеницами танков хрустнули девичьи мечты и надежды. Девочки из десятого "Б" не успели даже собрать осколков. "Прощайте, девочки! - писала Галя с дороги. - Крылья оборваны, руки скованы, надежд нет. Прощай, жизнь, прощай, молодость, прощай, родина!"

Чей завтра черед? Лариса, чтоб ее не угнали в Германию, поступила в театр "Кабаре", открытый немцами. Она всегда собиралась стать актрисой. У нее был нежный девичий голос. Она пела грустные песенки и всегда, когда пела, плакала. И ее подруги тоже.

Но Ларисе ни разу еще не удалось допеть до конца свою песенку в театре, - немецкие солдаты, шикая и свистя, прогоняли ее со сцены. Им не нужны были ее песни. Им нужны были ляжки. Они аплодировали только ляжкам. На холодной сцене окоченевшие девочки тоскливо плясали. Немцы недовольно кричали: "Живей! Живей! Кобылы!" Офицер щелкал стеком, как наездник кнутом. Девочки ожесточенней дрыгали синими ногами. Только бы не угнали в Германию!

За кулисами все время толпились немецкие и итальянские офицеры. Кулисы казались им цирковой конюшней. Они бесцеремонно хлопали девушек по спинам и приглашали ужинать.

- Свиньи, свиньи! Боже, какие это свиньи! - с отвращением и ужасом говорила Лариса Насте. - Я умру, если один такой приблизится ко мне. Лучше в петлю!

Лиза-Луиза перестала бывать у Насти в доме. Немецкий офицер подарил ей кофточку. Великолепную кофточку из голубой ангорской шерсти; ни у кого в городе не было такой. Когда Лиза-Луиза прогуливалась по главной улице, на нее все смотрели. Какая-то женщина неотступно следовала за нею три квартала и глаз не отрывала от кофточки.

У этой женщины были сумасшедшие глаза, тоскующие, черные. Лиза-Луиза возмутилась. Это нахальство - идти за ней и смотреть! Слишком много сумасшедших развелось в городе.

- Вы что на меня смотрите? - прикрикнула она на женщину.

- У вас красивая кофточка, девушка.

- Ну? А вам что?

- Ничего, - растерянно улыбнулась женщина. - Носите. Носите. Это была моя кофточка. Мне когда-то подарил ее муж. Потом его убили, и я перестала носить. К нам в дом пришел немец и взял ее. И другие вещи тоже. Моя девочка Ирочка заплакала, глупенькая, и немец убил ее. Но это ничего, ничего.

Вы носите кофточку... Она красивая. На ней пятна Ирочкиной крови, я потому и смотрю. Это очень красиво - красное на голубом...

Луиза в ужасе отшатнулась от женщины и убежала. "Это очень красиво: красное на голубом!" - кричала ей вслед женщина. Луиза прибежала домой и разрыдалась. Она долго не могла успокоиться. Кофточку она сняла. Но ей казалось теперь, что и на юбке, и на чулках, и на ботинках черные пятна крови. И на губах не помада, а кровь. И на ногтях не лак, а кровь. На всем ее теле - пятна, пятна крови...

- Что ж подружек твоих не видать у нас? - насмешливо спросил как-то Настю Тарас. - Тихо даже стало. Небось устроились?

- Да... - коротко ответила Настя. - Устроились.

- То-то я и гляжу - нет их. Куда же они устроились, твои Катьки, Машки?

- Галю в Германию угнали.

- А-а!

- А Мария здесь устроилась лучше всех. - Настя грустно усмехнулась. - У немцев она теперь на всем готовом. На казенных харчах.

- В тюрьме? - удивился Тарас. - За что ж такую девочку в тюрьму?

- Не знаю... Говорят, за листовки... - нехотя ответила Настя и отвернулась.

Тарас попытался вспомнить Марию. Вспомнилось что-то курносое, веснушчатое, озорное... А может, он путал? Много их тут, босоногих, бегало. "В тюрьме! - произнес он про себя. - Ишь ты!" В первый раз с уважением подумал он о незнакомом молодом племени. А Настя? Какой путь изберет Настя, каким пойдет? Путем Гали, Луизы или Марии?

Она молчала. Молчала по-прежнему: душа за семью замками. Но Тарас видел: она уже избрала свой путь. Только он не знал - какой.

Каждый человек в городе искал свой путь для себя и для своей совести.

- Как жить, как жить, Тарас Андреич? - тоскливо спрашивал сосед Назар. - Нет, ты скажи мне: как жить, что делать? Терпеть?

- Не покоряться! - отвечал Тарас, и перед ним все мелькало чье-то курносое, веснушчатое, озорное лицо. - Не покоряться!

9

Не покоряться!

Фашистский топор повис и над семьей Тараса - старика потребовали на биржу труда. Он не пошел.

- Я не хочу работать, - сказал он полицейскому, пришедшему за ним.

Первый раз в жизни произнес он эти слова: я не хочу работать. Его руки тосковали по напильнику. Его легким нужен был железный воздух цеха, его ушам - веселый звон молотов в кузнице, его душе - труд. Но он сказал полицейскому: я не хочу, я не буду работать. Сейчас труд был изменой. Сейчас голодать - значило не покоряться.

С ним поступили так же, как со всеми: его заставили прийти на биржу труда.

Только гитлеровцы умеют мирные слова наполнить ужасом. Только они умеют все превратить в застенок. Застенком, где пытали ребячьи души, была школа. Застенком, где немецкие врачи на русских раненых пробовали свои яды, была больница. Застенком был лагерь для военнопленных. Застенком были театр, церковь, улица.

Но в рабочем городе, где жил Тарас, самым ужасным застенком была биржа труда - первый этап невольничьего пути.

Сюда никто не приходил по доброй воле. Сюда волокли схваченных в облаве, изловленных на улице, вытащенных из погребов и подвалов. Еще час назад у этих людей были имя, семья, дом, надежды. Еще час назад этот мальчик играл с товарищами, эта девочка прижималась к теплым коленям матери. Сейчас все будет кончено для них. Вместо имени - бирка, вместо дома - вагон с решетками, вместо семьи - чужбина. Только надежда остается у раба. Надежда и ненависть.

Здесь, на бирже, происходило расставанье людей - в судорогах и борьбе. Людям казалось, что здесь, в воротах невольничьего пути, еще можно упереться, отсюда еще можно вырваться. Можно вымолить себе волю, выползать на коленях, вырвать зубами. Они с ужасом отталкивали от своей шеи ярмо. Они кричали о своих правах человека, показывали мятые и бесполезные справки, просили, доказывали, грозили, плакали. Напрасно. Отсюда нельзя было вырваться. Здесь непокорную шею сгибали, непокорную душу вышибали вон.

Тараса заставили ждать череда. Его еще не били, но вся его душа была уже в синяках. Он видел стены, забрызганные кровью, он слышал стоны и вопли.

Беременная женщина с большим острым животом валялась в ногах чиновника и умоляла не забирать единственного сына. Над нею стоял ее сын, четырнадцатилетний бледный мальчик, и говорил:

- Встаньте, мама! Встаньте! Не надо! - По его губам текла струйка крови, он отирал ее рукавом и снова просил, и умолял, и

требовал: Встаньте, встаньте, мама! Не надо!

Чиновника он ни о чем не просил.

Вдруг чиновник взвизгнул:

- Щенков плодите, а для великой Германии жалеете? Падаль! - и пинком сапога в живот отшвырнул женщину.

Дико закричала она и схватилась за живот. Ее крик ударился о четыре стены комнаты, о стекла, о потолок и затих. И снова поползла она по полу, бережно придерживая руками живот, поползла к сапогам чиновника, к ножкам его дубового стола, умолять, просить, плакать. Только смерть могла бы заставить ее отказаться от борьбы за сына.

А перед чиновником уже стояла молодая пара: муж и жена. Он говорил, она плакала. Он прерывал свою речь и утешал ее: "Что ж ты плачешь, Катя? Это ж ошибка, сейчас все выясним", - видно, слезы жены мучили его и мешали связно говорить.

- Здесь ошибка, господин начальник, - убежденно доказывал он. - Мы законные муж и жена. Вот документы. Мы - законные... Как же нас разлучать? Мы согласны ехать. Но как же врозь? Ведь мы законные... Ведь и ваш бог и наш: бог одинаково за закон брака... Об одном только просим: не разлучайте нас!

- Странно, странно, майн готт! - смеялся чиновник. - Но что же вам делать вместе в публичном доме? - И он хохотал, хлопая себя по бедрам, и, изнемогая от смеха, падал животом на стол.

Распахнулась дверь кабинета коменданта биржи, и оттуда вышвырнули комок крови и мяса. Комок шлепнулся об пол. Все в ужасе расступились. А комок корчился на полу и хрипел:

- Врешь! Врешь, не покорюсь!

И Тарас, сжимая свою суковатую палку, решал про себя: "Бить я себя не позволю! Лучше - смерть".

Но его и не собирались бить. Его пригласили, наконец, в кабинет коменданта, и сам комендант биржи вежливо поднялся ему навстречу. Тарас узнал в коменданте местного немца Штейна.

- Садитесь, господин Яценко, - пригласил комендант.

Тарас подумал, подумал и сел. Палку он поставил меж колен и оперся на нее.

- Вам пришлось ждать, Тарас Андреич? Извините меня. Дела!

- Ничего... - проворчал Тарас.

- Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод.

Тарас вздрогнул.

- Это грандиозная строительная задача. Мы с вами немолодые люди, мы отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Вы

будете сыты, ваша семья обеспечена...

- Я не мастер, - тихо ответил Тарас. - Я черный рабочий.

- Что? - удивленно уставился на него Штейн и расхохотался. - А, хорошая шутка! Я понимаю. Шутка мастера.

- Я черный рабочий! - строго повторил Тарас.

Штейн посмотрел на него и увидел упрямые, суровые стариковские складки у рта и острый подбородок, упершийся в палку.

- Руки! - вдруг закричал он исступленно. - Покажи руки, свинья!

Тарас, усмехаясь, протянул ему свои руки. Сильные, жилистые руки в давних бугорках отвердевших мозолей, ладони, в которые навеки въелась железная пыль и машинное масло.

- Это чернорабочего руки? - крикнул Штейн. - Это руки мастера, господин Яценко. Это золотые руки. Им цены нет. Но Германия умеет ценить такие руки.

- Я черный рабочий! - опять повторил Тарас и встал, опираясь на палку.

Штейн тоже встал. Их взгляды скрестились. Штейн был здешний немец. Он хорошо понимал не только русский язык, но и русский взгляд.

- Хорошо! - задыхаясь, закричал он. - Чернорабочий? Отлично. Нам нужны и чернорабочие. Пойдешь чернорабочим. Не пойдешь - понесут. Будешь упираться - живым закопаем в землю.

Штейн сдержал свое слово. Теперь каждое утро за Тарасом заходил полицейский гнать на работу. Тарас надевал какое-то тряпье, брал палку и выходил. Ни разу он не надел своей спецовки. - Я свой рабочий мундир не опозорю! - Полицейский обходил еще несколько квартир, пока не собиралась вся партия непокорных заводских стариков. Так, под конвоем, их и гнали через город. Так, под конвоем, пригоняли на завод.

Они входили в старые, знакомые заводские ворота. Перед ними лежал труп завода. Скорчившееся, обуглившееся железо. Глыбы мертвого камня.

Старики шли по заводу... Высокой травой заросли дорожки. На стенах выступил лягушечий мох. Черные вороньи гнезда в стропилах. Хмурое дырявое небо. Рыжий бурьян бушует там, где некогда бушевало раскаленное железо. Вдруг падает ржавая балка: подпоры прогнили и рухнули. Облака бурой пыли подымаются над руинами. Испуганно взлетают вороны. Кричат хрипло и тревожно. Бьются крыльями о стропила. И долго-долго еще носятся и кружатся над развалинами цеха, как над трупом.

Мастера идут под конвоем по кладбищу завода, сами похожие на скелеты. Все опустили головы: страшно глядеть на развалины.

Вокруг запах мертвого железа, тяжелая тишина. Только шарканье ног по ржавым плитам.

Непокорных стариков пригоняют к развалинам электростанции. Их заставляют разбирать полуразрушенные стены и расчищать площадку. Ну что ж! Ломать стену они будут, строить - никогда. Они делают это медленно и насмешливо. Немец-надсмотрщик злится: русский не умеет работать! Русский есть ленивый осел! Тарас усмехается: поглядел бы ты, немец, как русский "лентяй" шуровал здесь, когда сам себе был хозяином, как ворочал тяжким молотом Петр Лиходид, какой азарт кипел здесь, какой пот был на рубахах.

Когда немец уходит, старики сразу бросают "работу". Кряхтя, усаживаются на камни. Закуривают. Знаменитые мастера сидят тут на развалинах. Они сложили эти цехи. Они их и разрушили. Кому из них доведется воскрешать?

- Сколько тебе лет, Тарас? - спрашивает старик Артамонов, пенсионер.

- Шестьдесят, Пал Петрович, - почтительно отвечает Тарас.

- Молодой еще! - вздыхает Артамонов. - Здоровый. Ты доживешь.

И все с завистью глядят на ширококостого, кряжистого Тараса. Да, дожить, дожить бы! Дождаться! Дни, недели остались до освобождения, у стариков каждый час - последний.

- Не доживем! - горько качает головой Назар. - Все скелеты стали, все скелеты. Гляжу я и удивляюсь: чем только люди живы?

- Верой живы, Назар, - строго отвечает Тарас, - верой.

- Завод можно быстро пустить! - говорит старик Артамонов. - Я б перво-наперво... - И он начинает выкладывать свой проект. У каждого старика есть свой проект. Продуманный, выстраданный, выношенный, как мечта. Каждый начал бы восстановление завода со своего цеха. Они доказывают друг другу, что так вернее. Они спорят, горячатся, сердятся. И все - мечтают.

Дожить. Дожить бы! Увидеть, как заструится первый робкий желтоватый дымок над силовой... Услышать, как громыхнет первый молот в кузнице...

Но ни один из них не перенес бы, если бы задымил завод для врага. Нет, этого допустить нельзя. Лучше видеть родной завод трупом, чем рабом. Пусть лучше лежит мертвый до поры. Его не дадим унизить.

Бранясь, возвращался немец-надсмотрщик. Старики принимались за работу. Медленно разбирали стену. Кряхтя, волочили камни. Перекладывали кирпич с места на место. Битый кирпич. Разрушенная стена. Мертвые камни, могильные плиты.

Мертвые камни, могильные плиты...

Умер старик Артамонов: волочил камень, упал и не поднялся больше. Так и остался лежать, обняв камень старческими руками. Артамонова похоронили тихо, торопливо, не так, как хоронили бы на заводе. Немцы украли у старого мастера не только почетную жизнь, но и почетную смерть.

Только девять стариков шли за его гробом. Беспокойный человек Назар по дороге на кладбище рассказывал страшные вести: на шахте Свердлова фашисты расстреляли семьсот человек шахтеров, их жен, стариков и детей.

- Все шурфы трупами забиты. Такой, говорят, смрад над шахтой стоит горе! - И, качая головой, предсказывал: - Всех истребят, помяните мое слово, всех. И до нас дойдет! Сперва евреев изничтожат, потом нас.

Похоже было, что его слова сбываются. Однажды утром Тарас увидел, как по улицам гонят огромную толпу евреев.

Они идут, окруженные частоколом штыков, испуганные, раздавленные люди. Они не знают, куда и зачем их ведут: на смерть, на дыбу, на каторгу? Но обреченные, они покорно бредут, куда их гонят. Не слышно ни криков, ни плача. Мокрый, холодный ветер хлещет людей. Дождь, как кнут, падает на спины и плечи.

Женщины, спотыкаясь на мокрых камнях, несут больных детей. Старики и калеки ковыляют в хвосте колонны и боятся отстать и остаться один на один со штыками конвоиров. Упала старуха и забилась в припадке на мостовой, но кричать и звать на помощь боится. Молча бьется она на мокром булыжнике, судорожно хватает руками воздух, а мимо нее бредут и бредут обреченные люди. Сгибаются под тяжестью мокрых узлов. Волочат пожитки. Все брошено - родной дом, очаг, добро. От большой, годами сколачиваемой жизни только и осталось жалкий узел. Но людям сказали явиться с вещами, и они обрадовались. Значит, не смерть. Значит, еще не смерть. И они цепляются за свои узлы, как за самую жизнь, как за образ трепетной и теплой жизни.

Только один человек идет без вещей, без пожитков, отрешенный от всей суеты земной - старый доктор Фишман. Ничего у него нет с собой, кроме старенького докторского саквояжика. Словно не на смерть он идет, а на утренний обход больных.

Вокруг него бредут, задыхаясь под тяжестью вещей, его соплеменники. Они не знают и не верят, что это их последний день, последний час, последний туман над городом, последний дождь на крышах. И они хлопочут о своих узлах, об одеялах, о

пуховом шарфике для простуженной дочки.

А он знал. Он знал, что это его последний путь. В последний раз шел он по городу, где родился и вырос. И был до горечи дорог ему этот русский мокрый ветер в черных тополях, и запах русской земли, покрытой жухлой листвой, и русские заплаканные крыши, и русский осенний дождь, падающий над городом.

Тарас долго смотрел ему вслед. Молча колыхалась толпа, даже дети стихли. Равнодушно, молча шли полицейские и автоматчики. Падал туман, и дождь, как кнут, стегал да стегал улицу...

- Прощай, доктор Арон Давыдович! - прошептал Тарас. - Не осуди: ничем я тебя выручить не могу. Сами ждем казни.

Евреев расстреляли где-то за городом. Чудом уцелевшие одиночки прятались в русских семьях. Русские люди охотно, не страшась, прятали мучеников: это был долг совести.

Улица, на которой жил Тарас, прятала шестилетнюю девочку. Полицейские дознались о ней и рьяно искали. Этого даже Тарас уразуметь не мог. "Неужто, - усмехнулся он, - германское государство рухнет, если будет жить на земле шестилетняя девочка?" Но полицейские продолжали рыскать по домам. У них появился охотничий азарт. Они, как псы, вынюхивали след. Улица не сдавалась.

Каждый вечер девочку, закутанную в темный платок, переносили на новое место от соседа к соседу. В каждом доме был освобожден для нее сундук и в нем постелька. Девочка и жила, и ела, и спала в сундуке; при тревоге крышку сундука захлопывали. Ребенок привык к своему убежищу, оно больше не казалось ему гробиком. От девочки пахло теперь нафталином и плесенью, как от древней старушки.

Марийка от подружек узнала об этой девочке: детвора говорила о ней шепотом. Когда ребенка принесли в дом Тараса, Марийка, замерев, спросила деда: "Это девочка из сундука?" - и Тарас не знал, что ей ответить.

Девочка из сундука была бледненькой и хилой. В ее больших черных глазах жил испуг. Годы понадобятся, чтобы успокоить и развеселить такие глаза! Марийка вдруг обняла девочку и прижалась к ней. Черненькая и беленькая головки...

- Будем в куклы играть, - сказала Марийка и оглянулась на Тараса. Можно? Мы в сундуке будем в куклы играть! - поспешила она прибавить, и Тарас отвернулся, чтобы смахнуть слезу.

Ночью в домик Тараса ворвались полицейские. Они перевернули вверх дном все комнаты и чуланы, нашли и взломали сундук. Девочка спала. Она продолжала спать даже на руках полицейского, безмятежно улыбалась во сне и тихонько

чмокала губами. Грубый толчок разбудил ее. Она увидела чужие страшные лица и черные шинели. Она закричала, так закричала, что Тарас не выдержал и бросился на полицейского.

Когда, обливаясь кровью, Тарас поднялся, наконец, с пола, он прежде всего вспомнил о девочке, о беленькой девочке, о своей, о Марийке. Он оглянулся на нее и увидел ее глаза. Огромные, синие, они были расширены ужасом. "Что ж это? Что ж это, дедушка? За что?" - спрашивали ее глаза.

Но слез в них не было.

Слез не было. Дети научились не плакать. Они отвыкли смеяться и научились не плакать.

11

Дети старели. Они на глазах превращались в маленьких старичков и старушек. Иногда Тарасу казалось, что они с Марийкой ровесники. Как маленькая старушка, нахмурив лобик и сложив на животе ручки, сидела Марийка где-нибудь в углу и думала. О чем она думала? Тарас боялся ее спросить.

- Дедушка, - спросила она однажды, - а скоро русские придут?

- А ты кто же, не русская? - рассердился Тарас.

- Нет. Немецкие мы теперь. Да?

- Нет! Русская ты! И земля эта русская. И город наш был и будет русский. Надо так, Марийка, говорить: наши придут. Наши скоро придут! Наши немца прогонят. - Он учил ее этим словам, как молитве. И она знала уже, что слова эти надо держать в душе, немец их слышать не должен.

В школу она не ходила. Она была там только раз и вернулась хмурая, заплаканная.

- Ты чего? - встревоженно спросил дед.

- Я больше... не пойду... в школу... - прошептала она так горько, что Тарас вздрогнул.

Целый год мечтала Марийка о том, как пойдет в первый раз в школу. Старшие девочки много рассказывали ей о школе, но запомнилось и в мечты вошло только одно: в школе дети поют хором. А теперь пришла Марийка в школу, весь урок просидела, а песен не дождалась. На переменке запели было девочки сами, учительница прибежала и замахала на них руками: "Тттттт! Тшш! Нельзя петь!" - И школа померкла для Марийки.

- А ты пой одна, - посоветовал ей Тарас.

- Не, - покачала она головой, совсем как маленькая старушка. - Нельзя. Немец услышит.

Только перед сном в постельке она сама себя убаюкивала песенкой, которую сама же и сочинила: "Придут на-а-аши... Дети пойдут в шко-о-олу. Будем песни спива-а-ать..." И опять сначала и много раз: "Придут на-а-аши. Дети пойдут в шко-о-олу... Будем

песни спива-а-ать..."

Леньке тоже не понравилась школа. Он пришел оттуда угрюмый, долго ходил вокруг деда, не зная, с чего начать. Наконец, сказал:

- Теперь, дедушка, школа платная будет. Вязанка дров в неделю, два ведра угля и еще деньгами...

Тарас нахмурился, постучал пальцами по столу.

- А когда ж я вам средств жалел на науку? - спросил он обиженно.

Ленька еще потоптался на месте и, глядя в пол, произнес:

- Только я, дедушка, все одно в школу эту ходить не буду. Там на нас теперь смотрят как на одноклеточных. Или как на скотину. Учить будут только читать, писать да считать. Вот и вся нам наука.

- А каких тебе еще наук надобно? - сердито отозвалась бабка Евфросинья.

Ленька презрительно посмотрел на нее и ответил:

- А мне, бабушка, многие науки надобны. Мне желательно географию изучать про нашу страну, а также историю и физику. Только этому нас немцы обучать не будут. - Он опять повернулся к деду и спросил уже умоляюще: - Так я в эту школу ходить не буду, дедушка? Мне... - он запнулся, хотел сказать: "Мне обидно", а сказал: - Мне совестно.

- Не ходи! - коротко ответил Тарас.

На этом и закончилась для Леньки и Марийки учеба, - в ребячьих душах прибавился еще один горький рубец.

Немцы теперь часто бывали в домике Тараса. Через город на фронт под Сталинград сплошным потоком шли колонны. Останавливались на короткий отдых, на ночь, иногда на день.

Немцы были хмурые, злые. Они боялись степи. Они боялись самого слова "Сталинград" и произносили его неохотно, редко. По ночам они вздыхали, ворочались, бредили во сне. Однажды Тарас услышал даже, как немец плакал.

В эти дни Марийка редко выходила на улицу, сидела в уголке на своей скамеечке, подперев кулачками подбородок, и думала. Вся душа ее была в кровавых рубцах.

По ночам с ней часто случались странные припадки, - припадки страха. Она начинала кричать, плакать, метаться в постельке, ей мерещились ужасы, кровь, девочка из сундука. Она успокаивалась только на руках Тараса. Он один мог успокоить ее, словно от него исходила какая-то спокойная, уверенная сила. Марийка прижималась к груди старика и, цепко охватив ручонками его плечи, засыпала.

Он бережно клал ее в постельку, садился рядом на табурет и

так сидел часами.

"Все можно залечить, восстановить, поправить, - думал он, глядя на сведенное в больной гримаске лицо девочки. - Война кончится, и все раны зарубцуются, все заводы отстроятся, вся жизнь обновится. Но чем вылечишь окровавленную, искалеченную, оскорбленную душу ребенка?"

- Где же вы, сыновья мои? Где вы?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Где же вы, сыновья мои? Где вы?

Было у Тараса три сына - нет вестей ни от одного. Живы ли они? Он старался думать, что живы. Он ждал их.

Это было большое ожидание, в нем сроков нет, - это была вера. Жива наша армия, живы и мои дети. Вернется армия, а с нею вернутся и сыновья. Вернутся сыновья, а с ними и армия. Без армии они не могли вернуться. Врозь он и не ждал их.

Андрей пришел один. Он пришел осенью, поздними сумерками, худой, бородатый, черный, - его и не узнали сперва. И одежда на нем была чужая какая-то серая крестьянская свитка, таких и не носят теперь; и пыль на его лице, бороде и лаптях - чужая, нездешняя, бог весть с каких дорог; и весь он был чужой, незнакомый, горький. В синих впадинах под глазами, в острых изжелта-черных скулах, в злых складках у рта залегла горечь одному ему известных разочарований и мук.

- Ну, здравствуйте! - сказал он, грустно усмехнувшись, и, сняв шапку, осторожно стал стряхивать пыль с нее, как гость.

Страшно закричала Антонина, бросилась мужу на шею.

Заплакала бабка Евфросинья. Всполошились дети. Растерянный Тарас так и застыл на пороге с коптилкой в руке.

- Это кто? - испуганно спросила Марийка у Леньки.

- Это папка твой.

- Непохожий какой папка! - огорченно сказала Марийка и недоверчиво подошла к отцу.

Андрея провели в комнату, усадили за стол. Вокруг него собралась вся семья. Испуганно прижалась к непохожему отцу Марийка. То плакала, то смеялась Антонина, суетилась возле мужа и, наконец, припав к его коленям, успокоилась и затихла. У печи и стола хлопотала бабка Евфросинья.

Андрей сидел все еще чужой, нездешний, нерешительно гладил волосы Антонины, неумело прижимал к себе Марийку, что-то говорил, восклицал не к делу и не к месту, как все восклицали сейчас, и бродил растерянным, но жадным взглядом по комнате, словно спрашивал себя: верно ли, дома ли я, не померещилось?

И раньше всего пришли к нему знакомые с детства запахи: запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса. Потом он увидел семейные фотографии, в рамках из ракушек, часы-ходики с генералом Скобелевым на коне, горку с глечиками и обливными расписными тарелками, лампадку на медно-зеленой цепи перед киотом. Все на месте, ни единого пятна на стене.

- А у вас все - как было! - сказал он не то удивленно, не то обрадованно.

Вокруг колебалось все, все было непрочно, неверно, шатко, и самого Андрея мотало между жизнью и смертью; представлялось ему, носит он в себе целый мир, мятущийся и окровавленный, а оказалось - носил в своей душе только эту комнату. Только о ней одной думал. Только к ней одной стремился. Чтобы вот так сидеть у стола, а вокруг - знакомые стены, знакомые запахи, знакомые, дорогие лица, семья... Он и сам не знал, что так любит свой дом.

Все пройдет - и война и колебание мира. Только это вечно: семейные фотографии на стене, запах квашни на кухне.

Он обрадованно, легко засмеялся, потер руки и в первый раз почувствовал себя дома.

- Папка пришел, значит наши в городе? - шепотом спросила Марийка у Леньки.

- Нет, это только твой папка пришел.

Тарас ни слова еще не сказал с тех пор, как Андрей пришел. Тяжелым взглядом следил он за каждым движением сына, и когда тот сидел у стола, и когда он стал мыться, радуясь теплой воде и удивляясь, как быстро она побурела от грязи, и когда чуть не заплакал, приняв от Антонины белье свое, собственное, заждавшееся его, пахнущее крахмалом, домом, сундуком, заботливыми женскими руками...

И только когда вымытый, переодевшийся и сияющий от полноты счастья Андрей уселся снова за стол, Тарас, наконец, нарушил свое тяжелое молчание.

- Ты откуда же взялся, Андрей? - тихо спросил он.

Андрей вздрогнул. Тарас снова настойчиво повторил свой вопрос.

- Из плена... - чуть слышно ответил Андрей.

И вдруг стал торопливо рассказывать о плене. Антонина сжала его руку, вся семья притихла. А он, все больше и больше возбуждаясь, рассказывал о том, что вытерпел в плену, и сам теперь удивлялся, как он все это вынес и не погиб.

Но отец перебил его:

- Как же ты в плен попал, Андрей?

- Как? - невесело усмехнулся сын. - Как все попадают. Ну, окружение... Налетели немцы... Я на винтовку поглядел: что с ней делать? Бесполезное оружие!.. Я ее бросил и сдался...

- Сдался? - закричал Тарас. - Сдался, чертов сын?

Андрей побледнел. Наступило трудное молчание.

- Эх, дядя! - с досадой сказал Ленька, отводя от Андрея глаза. - Как же это ты? Я б нипочем не сдался.

И тогда Андрей рассердился:

- Не сдался б? Ты! Щенок! Вояка! Все вы тут, погляжу, вояки! Смерти не нюхали, немца не видели, а тоже... рассуждаете. Что ж, я один против немца? Их сила... А я?

- А умереть у тебя совести не было? - крикнул на него Тарас.

- Умереть? - вскрикнула Антонина и обеими руками уцепилась за Андрея. Словно его уж отрывали от нее и вели на смерть.

- Умереть? - криво усмехнулся Андрей. - Легко вы говорите, отец... Умереть я, конечно, мог... Это дело нехитрое... - он обвел всю семью недобрым взором и прибавил: - Может, и верно, лучше бы мне умереть!

Все молчали. Только Антонина еще крепче вцепилась в руку Андрея.

- Вишь ты! - снова невесело усмехнулся он. - Из плена шел... на крыльях... думал, дома ждут. Думал, радость домой принесу. А вишь ты, принес... неудобство.

- Мы тебя не таким ждали, - сказал, качая головой, Тарас.

- Несправедливый вы, Тарас Андреич! - вдруг дрожащим от слез голосом произнесла Антонина. - Вы ко всем несправедливы. Всегда. Что ж он один за всех умирать должен? Хорошо, что живой пришел, - и она оглянулась на женщин, ища в них поддержки. Бабка Евфросинья, как всегда, непонятно качала седой головой. Настя молчала.

- Квочка! - презрительно сказал Тарас. - Ты б лучше детей уложила... Чего не спят? - закричал он, срывая на них свое отчаяние. - Ну, приехал! Ну, живой! Представление кончено! Спать!

Бабка Евфросинья и Антонина стали укладывать ребят. Марийка легла в постельку сразу, - она была напугана и утомлена приходом непохожего отца. Ленька еще долго бушевал и спорил - не хотел спать. Андрей молча сидел у стола, катал хлебные шарики... Вот он и дома, а дома нет. Тарас тяжелыми шагами ходил по комнате.

- Если же ты из плена ушел, - вдруг спросила молчавшая все время Настя, - значит, уйти можно?

- Что? - очнулся Андрей и досадливо повел плечами. Настя

повторила вопрос. Подошла Антонина и села подле Андрея. Взяла его руку в свою.

- Бабы выручили... - нехотя объяснил он. - Бабы нас жалели... Чужие бабы жалели нас! - повторил он с упреком и вызовом отцу. - Совсем неизвестные, темные бабы, а жалели... - Но тут же вспомнил, как их жалели бабы: "несчастненькими" называли их они, и это была горькая, презрительная жалость к своим, но незадачливым мужикам.

А они шли через села горестной толпой, и вид у них теперь был и не мужиков и не солдат, а - пленных. Черт его знает, откуда появляется у пленного человека этот вид - шинель без хлястика, без ремня, взгляд исподлобья, руки за спиной, как у каторжан. Так они шли безоружной толпой через села. Через те самые села, по которым еще месяц назад проходили стройным и грозным воинством. Тогда их тоже жалели бабы, провожали за околицу, плакали втихомолку. Только несчастненькими их не звали тогда, нет!

Вдруг он сказал отцу:

- Думаешь, мне этот плен легко дался? Я, может, сам себя сто раз проклял, что не помер в бою. Помереть легче! Гнали нас по большаку... Чуть отстанешь - бьют прикладами. И ноги в крови, и морда в крови, кровью умываешься. Много перемерло нашего брата по дороге. Кто сам помереть не мог, того немцы приканчивали... Потом пригнали нас в лагерь. Под Миллерово. Просто пустырь обнесен колючей проволокой - вот и весь лагерь. Если дождь льет - значит под дождем живешь. Если холод - значит в холоде. Спали на сырой земле. Ели... - он махнул рукой. - Есть не давали. То, что бросят нам за проволоку бабы, то и ладно. Дрались меж собой из-за куска, как звери. И опять тут много нас перемерло. А я, вишь, на беду, уцелел.

Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах хрипели предсмертные стоны товарищей, свист бича и вечный похоронный звон колючей проволоки под ветром...

- А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков высматривали, плакали ж они, бабы, ох, страшно плакали! Выли! И мы начинали выть. Кто жить хотел, тот выл. А были такие - умирали молча. И это страшней всего. А я выл. Как волк воет. И все мне мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше становилось, чем смерть ближе - тем больше я жить хотел. И жил. А как жил, чем - теперь и объяснить не могу.

- Но как же ты все-таки из плена ушел, Андрей? - снова со странной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.

- Бабы и выручили. У немцев, видишь ли, политика хитрая.

Нас в этих лагерях померло тысячи - этого никому не видно. А они одного выпустят, он пока домой дойдет - об этом звону, звону. Вот они и распорядились, что бабы могут, в случае если своего мужа или брата среди пленных разглядят, брать его к себе, на волю. Ну, справка, конечно, нужна от старосты. Да это дело легкое! Есть бабы, которые в разных лагерях до ста "мужей" вот этак-то освобождали. - Он усмехнулся. - Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А на волю, на волю хочется!.. Чувствую, помру я здесь, как щенок слепой, и никто не вспомнит. И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, если добрая душа найдется! И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом... - он остановился на минуту, задумался и вдруг тихо, ласково улыбнулся. - Нашлась добрая душа, Лукерья Павловна... Луша... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужчины все покосилось, повалилось... - он запнулся, покраснел, потом, собравшись с духом, закончил: - Ты меня, Антонина, суди как хочешь, только я с этой женщиной жил... как с женой...

Антонина вздрогнула испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.

- Ведь я... - пробормотал Андрей, - я ведь не знал, живы ли? Здесь ли?.. Все сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...

- Ничего! Ничего! - зло расхохотался Тарас. - Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена? Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?

- А перед Россией моей вины нет... - глухо пробурчал Андрей.

- Врешь! Врешь! - закричал на него Тарас. - Всех ты обманул! И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожидание. - Он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.

Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив голову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабка Евфросинья, горько качала головой.

И чтоб как-нибудь развеять это невыносимое молчание, Андрей спросил:

- Ну, а вы тут как живете?

Ему никто не ответил. Только Настя пожала плечами. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: голова седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. "Боже ты мой! - ужаснулся Андрей. - Что же с ней сделали?" Он испуганно оглянулся вокруг. Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?

Вот дом - и нет дома! Те же бури и беды, что свистели над ним, Андреем, ломали, корежили его тело и душу, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде, Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним: и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад - а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было.

Андрею вдруг захотелось потянуться к жене, обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную, усталую седую голову, прижать к своей груди, заплакать вместе: "Ну, что было - было! Ничего! Ничего! Тоня! Теперь я здесь, теперь я с тобою. Проживем как-нибудь. Переждем войну, не навеки же". Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Тоня не верит. Неправда его слова.

Нет, не вырвался он из плена! Вот она - колючая проволока. По-прежнему и он в плену, и семья в плену, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой. Колючки впились в душу.

А у старика, у отца, душа свободна. Ее в цепи не закуешь. Ее колючей проволокой не опутаешь, бессмертную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

2

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

Как ни рано поднялся Андрей, многие встали еще раньше. Скрипели половицы, изо всех углов ползли шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось... Ну что же! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.

Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.

- Это отец смастерил, - объяснила мать, заметив, что сын загляделся на ее работу. - И названье этому выдумал: агрегат. А по-моему, горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...

Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.

- Открыть ставни, что ли? - вызвался Андрей. - Темно, как в могиле.

- Так и живем! - отозвалась мать. - Глядеть не на что.

Теперь, утром, все дома показалось Андрею не таким, каким

было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он ее увидел: в агрегате ли Тараса, в кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылился в углу ("Значит, нет в доме ни сахару, ни чаю. Как же мать без чаю живет, чаевница?"), - но нужда хозяйничала здесь, это он увидел ясно и принял почему-то как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.

Понемногу к столу стала собираться семья - все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина. А когда, наконец, вышла и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она: пудрилась. Но и пудра не могла скрыть, как постарела и осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза, стали тусклыми, испуганными. "Плачет много", - догадался Андрей и отвернулся.

Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.

- Ты в школу ходишь? - спросил он.

- Не... - удивленно ответила Марийка. - Теперь же немцы!

- Да, да... - пробормотал он. - Я не подумал.

Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.

- Ну, я с тобой сам заниматься буду! - торопливо посулил он дочке.

После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.

- Что, отец на заводе работает? - удивленно спросил Андрей у сестры.

- Да... вроде... - усмехнулась та.

- Под конвоем дедушку водят на завод! - закричал Ленька. - Вот! А без конвоя он не ходит.

Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.

- Да, да! - отозвался он оттуда. - Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора, меня ведут на завод. Под конвоем.

- И ты служишь? - спросил Андрей у Насти.

- Я? Нет!

- А что же делаешь?

- Я прячусь.

- Прячешься? От кого же?

- От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.

- Как же ты... прячешься?

- А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь

в том, чтобы прятаться, - загадочно усмехнулась она. И Андрей с удивлением и даже завистью подумал: "А они тут свою войну с немцами ведут; малую, конечно, войну, но гляди-ка, какую непримиримую".

- Что-то мой полицай опаздывает, - сказал Тарас, выходя из своей комнаты и поглядев на часы. Был одет Тарас в неописуемое рванье, где только добыл такое! И Андрей понял: это старик нарочно!

- Опаздывает полицай! - насмешливо повторил Тарас. - Непорядок! Конечно, извинить можно - полицейских рук у них теперь недостача. Непокорства в народе много, не управляются!

Он посмотрел на сына и спросил, словно невзначай, небрежно:

- Ты теперь в полицию служить пойдешь, Андрей, а?

Андрей побледнел.

- Как вы обо мне думаете, отец! - пробормотал он обиженно. - Даже странно!

- А куда же тебе еще идти? - беспощадно продолжал старик. - Ты свой путь выбрал. Теперь меченый... - он сердито фыркнул в усы. - Это мне на тебя обижаться надо, тебе на меня обижаться не из чего.

В Андрее вдруг вспыхнула злость. Что это отец в самом деле? "Не пряниками меня немцы одаривали - плетью... Вы и во сне того не видели, что я пережил". Ему вдруг вспомнился лагерь. Этого никогда не забыть! За это никогда не расплатиться!.. Ему захотелось все это зло, яростно швырнуть в лицо отцу. "Ну, давай, давай, старик, посчитаемся, у кого душа круче заварена злобой, давай!" Но тут вдруг раздался стук прикладом в дверь и голос: "Эй, выходи!"

- А-а! Пришел-таки! - усмехнулся Тарас и надел картуз. - Иду! Погляди и ты, Андрей, какой ноне старикам почет. Иди, иди! - прикрикнул он на сына, видя, что тот остался на месте. - Тебе на это поглядеть надо.

Андрей послушно вышел за отцом на крыльцо. На улице уже стояли старики, опершись на палки. "Словно пленные", - подумал Андрей. Он узнал всех. Как не узнать! Мастера!

Несговорчивые старики, они много крови испортили Андрею в былое время, когда он сам стал молодым мастером подле них. Они всегда были для него стариками. Они всегда говорили ему "ты", он им всегда "вы". Как не узнать! Их знали все. Академики с ними советовались. Директоры их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, потом обкому. Их можно было убедить, реже - уговорить, приказать им было нельзя.

Тарас занял свое место в ряду, полицейский махнул рукой, и

старики пошли.

Они шли, крепко опираясь на палки. И теперь было видно Андрею: постарели, подались мастера. И отец сдал, самый молодой из них. Рваное пальто болталось на его тощих плечах так беспомощно, так по-стариковски. Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из непокорства, которое самой силы крепче, старались они идти гордо и достойно. Словно и впрямь был для них этот конвой почетом.

"Нет, это не пленные, - невольно подумалось Андрею. - Это... это непокоренные".

Тарас, как всегда, шел рядом с Назаром.

- Что, Тарас, - сразу же спросил Назар, как того Тарас и боялся. - Не Андрея ли я на крылечке видел?

- Его! - буркнул Тарас.

- А-а... Значит, с гостем тебя, Тарас! С сыном! По старому бы времени, магарыч...

- Не с чего!

- Да, да... Это так, конечно... Ну, и что ж рассказывает Андрей? Как? Армия наша где?

- Теперь какие рассказы!

- Ну да... Все-таки... Это так... - не унимался Назар. - Он откуда же пришел, Андрей?

- Из окружения, - соврал Тарас. Слово "плен" выговорить бы не смог.

- А! Ну да... да... Теперь многие из окружения выходят. Вот и мы воевали в гражданскую, а такого слова чего-то не помню, не слышал: "окружение". А? Али забыл?

Дальше шли молча.

- Да... - задумчиво произнес Назар. - Разбежались наши кто куда... Окружение... Да без вести - неизвестные... Может, и армии-то нашей больше нет, а, Тарас? Одни мечтания наши? Может, вся она, как и твой сынок, разбежалась по окружениям да по домам... А? А мы ждем.

Тарас сам об этом думал с тех пор, как Андрей пришел, но теперь ничего не ответил Назару. Шли молча.

- Эй! Э! - закричал вдруг идущий в первом ряду старик Булыга. - Эй, полицай, ты не той дорогой ведешь. Слышь-ка!

- Молчать! - рявкнул на него полицейский и погрозил ему автоматом.

Старики заволновались.

- Это куда ж нас ведут? - забеспокоился Назар. - Уж не в тюрьму ли?

- Все одно! - отозвался Тарас.

- Да нет... Все-таки...

- Если на расстрел, - вдруг сказал литейщик Омельченко, Захар Иваныч, так я спасибо скажу. Все равно не дожить нам до светлого дня. А чем так жить... - он махнул рукой.

Но привели их не в тюрьму, не на расстрел, а на ремонтный заводик. Это был маленький, почти кустарный заводишко, его при эвакуации и не разрушали. Сейчас из его единственной трубы поднимался бледно-желтый дымок.

Полицейский ушел куда-то, недоумевающие старики остались одни. Из цеха вдруг выбежал к ним какой-то человек в немецкой спецовке, в котором Тарас по виду признал русского мастерового.

- А-а! - радостно закричал мастеровой, увидев стариков. - Смена прибымши...

- Постой! - строго остановил его старик Булыга. - Ты кто здесь?

- Я-то? - засмеялся человек. - Я мастер тут.

- Мастер! - пробурчал Тарас. - Сукин ты сын, а не мастер... Иуда!

- Постой! - опять властно прервал Булыга. - А нас сюда зачем?

- Догадываюсь: за тем же... Мастера?

- Ну, мастера, допустим.

- Ну вот! Догадываюсь так: работать будете! Работа срочная есть...

- Мы работать не будем! - сказал Назар.

- Будете! Заставят! Военный заказ! Тут разговоры короткие, - вздохнул мастер в немецкой спецовке. - Видите ли, пригнали откуда-то пропасть битых танков...

- Немецких?

- Конечно! Чьих же? То есть такую пропасть! Я и целых у немцев столько не видал. Ну, а своих рук у них, видно, не хватает. Которые танки поменьше побиты, те, конечно, в своих мастерских ладят. А эти - ну одно произведение искусства, честное слово, так побиты! Стало быть, их нам в ремонт...

- Постой, постой! - прервал его удивленный Тарас. - Битые танки! Кем же битые?

- Ну, не могу сказать, кем, - засмеялся здешний мастер. - Догадываюсь, конечно: мастерами биты! Ну, теми, с кем война идет! - Он оглянулся по сторонам. - Ну, как сказать? Противником.

Из цеха к старикам торопливо вышел важный и толстый немец в пенсне и в военной форме.

- А! - весело крикнул он. - Карашо! Вы есть русский майстера? О! Да! Здравствуйт, русский майстера!

Старики негромко прогудели: - Здравствуйте!

- Будем знакомы! - сказал веселый немец. - Я есть инженер. Вы есть русский майстера. Очень карашо! И есть один работ... О! Великий работ! Надо ремонтирт танки... Скоро! Как это? А, да - срочно! Две недели! Нет расстрел.

- Надо работу поглядеть, - негромко сказал Тарас.

- Что? А? Это есть справедливо! Майстер должен видеть работ. - Инженеру нравилось, что он умеет хорошо говорить по-русски с русскими мастерами. - Вы увидаль работ. Битте!

Стариков ввели в цех. Они увидели длинный ряд переломанных, покореженных, побитых немецких машин. Это были уже не те танки, что пугали их на городских площадях. Это было беспомощное, бессильное, мертвое железо.

- Дас ист есть, - торжественно сказал веселый инженер. - Как это? Могучественный немецкий техника. Он есть сейчас больной. Мы с вами есть доктора. А? - засмеялся он своей шутке.

- Аккуратная работа! - восхищенно сказал Тарас, разглядывая пробоины в броне. - Ничего не скажешь! Чисто! Это где же их так, сердешных? Под Сталинградом?

- Не ваше дел! - крикнул инженер, и его лицо стало багровым. - Молчайт! Молчайт! Молчайт!

- Я молчу, - пожал плечами Тарас.

- Молчайт! - еще раз, но уже тише крикнул инженер. Он вспомнил, что умеет говорить по-русски с русскими мастерами, и сказал уже спокойно:

- Эти танки должны скоро идти в бой. Нет - расстрел.

- Мы эту работу сделать не можем, - негромко сказал старик Булыга.

- Вас? - закричал инженер. - Что? Как это... не можем?

- Не можем мы! - прогудели теперь все.

Немец остолбенело поглядел на них. Он не ждал отказа. Он даже пенсне снял и зачем-то повертел в руках.

Вдруг он понимающе улыбнулся:

- А, да-да! Я понимай... Это есть справедливо... Майстер должен кушайт... Вы, - он ткнул пальцем в худого Булыгу, - вы есть скелет... Я буду кормиль майстера. Это есть справедливо... - Он два слова выговаривал особенно вкусно: "справедливо" и "расстрел".

- Нет, - усмехнулся Булыга, - нас уже не накормишь... Сыты!..

- Мы эту работу сделать не можем, - твердо сказал Тарас, - мы не мастера.

- Как не майстера? - удивленно закричал инженер.

- Мы черные рабочие.

- Как черный рабочий? - завопил немец. - Мне сказаль: майстера! - Он оглянулся на мастера в немецкой спецовке, но тот,

страшно побледнев и вспотев, отвернулся.

- Не мастера мы! - умильно сказал Назар, глядя прямо в глаза немцу. Самоучки... Невежество... Черные рабочие... И потом, возьмите в рассуждение, господин, - какие мы работники теперь? Старики! Шкелеты! И кормить нас уж ни к чему, только корму перевод... Так и живем, повестки ждем от смерти. Увольте нас. Какие мы мастера.

Немец растерянно выслушал его, обвел взглядом всех.

- Все черный рабочий? - спросил он.

- Все! - хором подтвердили старики.

Немец посмотрел на них недоверчиво и даже обиженно.

- Я буду карашо кормиль! - нерешительно сказал он.

Мастера не шелохнулись. Они по-прежнему стояли молча и покорно, склонив головы и не покорясь ни в чем, - и это больше, чем их слова, убедило немца в том, что эти работать не будут.

- Марш! - исступленно закричал он тогда и замахнулся рукой, словно хотел ударить. Потом круто повернулся и ушел к себе.

Старики продолжали неподвижно стоять на месте.

- Что ж мне теперь делать с вами? - рассердился полицейский. - Ну до чего ж вы, старики, вредные, скажу я вам! И помереть никак не помрете! Куда мне вас теперь вести? - Он подумал и махнул рукой. - Ладно, идите пока по домам. А я господину коменданту доложу о вас, нехай распорядится. Расстрелять вас всех надо, другого выхода нет.

- Спасибо за доброе слово, господин полицейский! - кротко поклонился Булыга.

Уже у заводских ворот Тараса нагнал мастер в немецкой спецовке. Он был бледен.

- Извините меня, - прошептал он, хватая Тараса за рукав. - Уж вы извините меня за мою малую душу. Не сумел я отказаться от этого ремонта, да и не подумал. А теперь уж поздно... Только вы хоть то поимейте в виду, торопливо прибавил он, - что я вас сейчас не выдал. Учтите хоть это!.. Ведь я же знаю, какие вы мастера.

- Я не поп и не судья, - непримиримо покачал головой Тарас. - Каждый человек живет по своей совести.

Дома Тарас застал только Андрея, женщин не было.

- Тебя-то мне и надо! - сказал Тарас сыну. - Садись!

Тот сел.

- Ты, Андрей, - начал Тарас, - хоть какой-никакой, а все-таки человек военный... Так?

- Ну, так... - ответил сын и тоскливо подумал: "Долго он надо мной издеваться будет? Или это теперь навсегда?"

- Не вояка, конечно, об этом говорить не будем, - продолжал

Тарас, - а все-таки кое-чему тебя учили? Так?

- Ну, так.

- Вот ты мне и скажи: с какого расстояния надо гранату кинуть так, чтобы танк разворотить?

- А вам зачем? - усмехнулся Андрей. - Кидать гранаты собрались?

- А может, и собрался! Был бы помоложе - кидал бы. В плен не сдавался б, будь спокоен.

- С пяти, с десяти метров вернее всего... - зло ответил Андрей.

- Так близко? - удивился Тарас. - Это что ж - значит, жди, пока на тебя танк наползет? Так, что ли?

- Ну, почти так...

- Большая смелость для такого подвига нужна. Тут надо душу иметь железную!

- Д-да... Разумеется.

- И что же, - спросил Тарас, - находятся такие смелые люди, а?

- Есть, конечно... Да вам-то что? - насторожился сын.

- Да-а... Есть... - вздохнул старик. - Счастливые те отцы, у которых такие дети! Ну, ладно! Теперь другой вопрос: а броня? Броню танка гранатой ведь не возьмешь? Выходит, тут пушкой надо брать? А?

- Ну, пушкой...

- И не всякой пушкой, заметь! Тяжелый танк легкой пушкой не возьмешь?

- Конечно.

- Значит, должны тяжелые пушки, мощные быть? Так?

- Ну, так...

- Выходит, и пушки есть. Значит, есть! Есть! - торжествующе крикнул старик и ударил ладонью по столу. - Есть, чертов ты сын, наша армия! А я из-за тебя чуть веры не лишился!

- Послушайте! - в бешенстве вскочил Андрей.

- Нет! - оборвал его отец. - Теперь ты меня слушай. Мой приказ. - Он встал из-за стола перед Андреем, грозя ему черным узловатым пальцем. - Под Сталинградом или в другом месте, про то не ведаю, набито много немецких танков. Немцы сюда их привезли. Чинить. Подлых рук ищут. Так вот тебе мой последний сказ, Андрей. Ты что хочешь с собой можешь делать, хоть в полицию иди служить. Мне до тебя дела нет! Я тебя из своей души вырубил. Но на завод... Слышишь? На завод... - он остановился, захлебнувшись кашлем. Бледный Андрей молча стоял перед отцом.

- Я тебя мальчонкой, - продолжал Тарас, - на завод привел и к своему верстаку поставил. Я тебе, чертов ты сын, свой напильник

дал и показал, как его держать в руках надобно. И объяснил я тебе, чертов ты сын, какой напильник к чему - какой драчовый, какой личной, какой бархатный. Так? И если ты, сукин сын, теперь отцовским напильником посмеешь... посмеешь... Я тебя сам, своими руками! А в остальном, - устало махнул он рукою, - живи как сам знаешь. Что хочешь делай!

3

- Что хочешь делай! - сказал ему отец, а Андрей и не знал, что ему с собой делать.

Сам лишенный всех человеческих прав, он не мог быть семье ни заступником, ни кормильцем. Он был лишний рот, ничего больше.

Его жизнь теперь не имела ни смысла, ни оправдания, ни даже цели. Зачем ты живешь на земле, Андрей? На это ему ответить было нечего.

Даже в плену у него была цель жизни: выбраться, вырваться из-за колючей проволоки. Ну, выбрался! Живя у Лукерьи, он лелеял новую цель: добраться, во что бы то ни стало добраться до семьи! Ну, добрался! И повис на шее семьи тяжелым грузом... Дальше что? Он не знал, что дальше...

Отец его, Тарас, жил и терпел муки и берег семью ради того, чтоб дождаться прихода наших. Ждать, ни в чем не покоряясь врагу, - вот ради чего жил, стиснув зубы, старый Тарас. Андрей не имел права ждать. Ждать, пока тебя - здорового человека военного возраста - придут и освободят? С какими же глазами ты к освободителям выйдешь?

Но и ждать было невыносимо: голод повис над семьей. Андрей голову ломал над тем, как беде помочь, но придумать ничего не мог. Идти на работу? Куда? Да и работа на врага не кормит, а сушит. Не в полицию же идти служить в самом деле.

Полицейские пронюхали про возвращение Андрея. Долго вертели его бумаги в руках. Придирались. Требовали, чтоб стал на учет, определился на место. Андрей отговаривался болезнью. Потребовали справку от врача, но намекнули, что можно обойтись и "по-хорошему" - взяткой. Но взятку давать было не из чего. Андрей отдал полицейскому зажигалку, которую от нечего делать смастерил для себя. Полицейский взял.

"К Лукерье в деревню пойти, что ли, добыть хлеба для семьи?" - подумал как-то Андрей и долго потом носился с этой мыслью. Но жене побоялся сказать. Ни слова не проронила тогда Антонина в ответ на его признание и потом не обмолвилась ни разу, но Андрей чувствовал: касаться этого не надо, нельзя.

Лукерья Павловна сама пришла в дом Тараса. Неожиданно. В полдень, когда дома были только бабка Евфросинья да Антонина.

Робко отворила калитку.

- Что, Андрей Тарасович Яценко здесь проживает? - конфузясь, спросила она у Антонины.

- Д-да... - удивленно отозвалась та и стала разглядывать незнакомую гостью: ее деревенский наряд, узелок в руках.

- А его видеть... можно?

- Его дома нет. Но он скоро будет. Вы подождите.

- А вы кто же будете?.. - опасливо спросила женщина. - Жена?

Что-то в ее голосе заставило Антонину ответить:

- Н-нет... Сестра.

- А! - обрадовалась женщина и облегченно вздохнула. - Значит, дошел он? Живой? - И она радостно засмеялась.

Они все еще стояли у калитки.

- Вы Лукерья Павловна? - тихо спросила Антонина и вдруг почувствовала, что все лицо ее заливается краской.

- Да! - удивленно ответила гостья. - А что, вам про меня рассказывал Андрей Тарасович?

- Да... Рассказывал... - не глядя на нее и комкая край фартука, сказала Антонина. - Да вы что же стоите здесь? - встрепенулась она вдруг. - Вы проходите, проходите в комнаты...

- Нет, ничего. Вы не беспокойтесь! Вы не беспокойтесь! Я и тут подожду. Значит, живой? - снова повторила она и опять радостно вздохнула.

Антонина ввела ее в комнату, усадила за стол. Лукерья Павловна осторожно повела взглядом вокруг.

- А где же жена?.. - спросила она, с трудом произнося слова. - Что, нашел жену Андрей Тарасович?

- Н-нет... - запинаясь, ответила Антонина. - Жены у него нет.

- Как нет? Он сказывал, жена есть.

- Д-да... Но она уехала... Эвакуировалась. Пропала без вести... Так и нет вестей...

- А! - покачала головой Лукерья. - А уж он убивался по ним как, по жене да по девочке. Он ведь знаете какой? - застенчиво улыбнулась она. - Он ведь нервный да ндравный...

- Да, знаю...

- Значит, живой! - в третий раз повторила она и опять тихо, счастливо улыбнулась.

В это время и вошел Андрей. Увидев Лукерью рядом с женой, он испуганно отшатнулся. Потом подошел... Лукерья радостно поднялась ему навстречу, краснея и прижимая руки к горлу, но вдруг, случайно взглянув на Антонину, остановилась. Что-то - она и сама не знала что - заставило ее догадаться, что Антонина не сестра Андрею... Она опустилась на стул, оробела и вся сжалась в комочек.

- Вы уж извините... - сказала она, болезненно улыбаясь. - Конечно, каждой бабе своего счастья хочется... хоть приблизительно...

- Ничего, - грустно вздохнув, отозвалась Антонина. - Горе у нас общее.

"Нехорошо как вышло! - подумал Андрей, садясь. - Очень нехорошо! Некрасиво! А кто виноват? Я ли один, или уж время такое... лихолетье, война?"

Неожиданно пришел Тарас. Ему, видимо, бабка уже сказала о гостье. Он шагнул прямо к ней и низко-низко ей поклонился.

- Спасибо тебе, женщина! - сказал он, и голос его дрогнул. - За душу твою спасибо. За твое человечество. Только не того ты человека спасла. Не стоит этот человек того... - Он презрительно взглянул на сына и вышел.

Всем стало еще более неловко.

- Сердитый у нас дед... - извиняясь, сказала Антонина. Принципиальный... Вы уж не взыщите. Такой...

- Нет, я ничего... Ничего... - торопливо сказала Лукерья. - Я что же? Я ведь только поглядеть зашла, убедиться: живой ли. А теперь я пойду, заторопилась она.

- Куда же вы? - испугалась Антонина. - Оставайтесь у нас. Переночуйте. Погостите. Как же так? Так нельзя, - и она оглянулась на мужа. Тот стоял молча, потупившись.

- Нет, нет, спасибо, спасибо, не беспокойтесь... - засуетилась Лукерья. - Я тут у сродственницы. - Она встала и хотела уйти, но не знала, что делать ей с узелком, который все время лежал у нее на коленях. Извините, - нерешительно сказала она, подымая узелок... - Это я... в подарок, - она посмотрела на Андрея, потом на Антонину и протянула узелок ей.

- Нет, нет, не надо, что вы! - отшатнулась та и замахала на нее руками.

- Не обижайте! - тихо проговорила Лукерья.

Андрей пошел провожать ее. Антонина молча смотрела с крыльца, как шли они рядом. Она вздохнула и опустилась на ступеньки...

- Какая женщина хорошая! - умильно сказала бабка Евфросинья, развязывая узелок. - Вот подумала про нас. Гостинчик припасла. А семье - все поддержка.

Тарас услышал это и выбежал из своей комнаты, багровый от стыда.

- Догони! - закричал он сердито. - Отдай! Что же, мы нищими уже стали? Милостыню берем? - Но тут он увидел Марийку: девочка бескорыстно счастливыми глазами, как на чудо, смотрела на яйца. Тарас махнул рукой и вышел во двор.

"Нищие! Хуже нищих!" - подумал он и, покачав головой, оглядел дом и хозяйство. Все покосилось... Сарай, как старик, сгорбился, дом еле дышит... надо бы чинить, да где уж!.. "Человека тоска ест, металл - ржа, а дерево черви. Так уж заведено. Все прахом пошло. Впору для всей фамилии гробы готовить. Да и на гробы, - горько усмехнулся он, - леса нет. Только и есть всего три сосновых доски в хозяйстве".

4

Три сосновых доски... Из них даже гроба не сделаешь! Но Тарас и не собирался сколачивать гроб для себя. Он еще не хотел умирать, он еще не лишился веры.

Из сосновых досок он сколотил ящик. Приделал к нему колесо. Прибил ручку. Получилась тачка.

Бабка Евфросинья тревожно следила за работой мужа: - Идти собрался, Тарас?

Он не ответил.

- Может, обойдемся? - нерешительно сказала она.

Он досадливо передернул плечами:

- Э! Пустые слова!

- Сам пойдешь?

- А кто же? Больше идти некому.

- Может, Андрей? - осторожно спросила она.

- Андрей до нас не касается! - хмуро отмахнулся старик.

Бабка Евфросинья грустно покачала седою головой.

- Не такие твои года, чтоб идти, Тарас... - вздохнула она.

- Да, - криво усмехнулся Тарас. - Не такая мне старость причитается за мой труд на земле. Ну, да что толковать! Не умели свое право защитить, не сумели своих сынов воспитать - теперь обижаться не на кого.

Вечером бабка Евфросинья и Настя собирали Тараса в дальнюю дорогу. Вытаскивали из заветных сундуков платья, костюмы, белье, стряхивали нафталин, разглядывали вещи на свет: возьмут ли в деревне, что дадут за них? О каждой вещи, вытащенной из сундука, бабка Евфросинья могла бы рассказать целую историю: как откладывались из получки деньги, как долго совещались все женщины дома и как потом, всей семьей, шли покупать. Но об этом лучше было не вспоминать. Бабка Евфросинья и не вспоминала, а только вздыхала тайком от Тараса, складывая вещи в тачку.

Но один сундук она долго не хотела отпирать. Все обходила его и снова к нему возвращалась.

- Тут Настюшкино приданое, - сказала она наконец.

- Вот как! - удивилась Настя. - А у меня и приданое было!

- А как же? - обиделась мать. - Не хуже, чем у добрых людей.

- А я и не знала! - засмеялась Настя. - Ну, отпирайте, мама! Женихов все равно нет. Не идут женихи, задержались за Доном. Отпирайте!

Настюшкино приданое тоже пошло в тачку.

Ночью пекли Тарасу на дорогу лепешки из последней муки.

- Ты с рассветом пойдешь, Тарас? - осторожно спросила жена.

- А что! - насторожился Тарас. Он и сам думал выйти с рассветом.

- Днем, я думаю, некрасиво будет с тачкой пойти. Люди нашу бедность увидят.

- А мне стыдиться нечего! - закричал Тарас.

- Прежде ты бедности стеснялся...

- Прежде! - проворчал он. - Прежде тот беден был, кто работать не хотел. А теперь мне стыдиться нечего. Днем пойду! - закричал он в бешенстве. - В самый полдень. Пусть все мою тачку видят!

И он, простившись с семьей и даже не взглянув на Андрея, вышел из дома ровно в полдень.

Высоко подняв голову и раздув седые усы, пошел он, толкая тачку, через весь Каменный Брод, через весь город, по самым людным улицам. Знакомые молча глядели ему вслед.

А он шел, ни на кого не глядя. Торжественный и печальный, весь черный от горечи, сжигающей его.

Так прошел он через весь город и вышел на большую дорогу. У перекрестка он остановился, чтоб разогнуть спину. Но то, что он увидел на дороге, заставило его обо всем забыть.

Тачки, тачки, тачки - насколько хватало глаз, одни тачки да спины, согбенные над ними. Спины и тачки - больше ничего не было, словно то была дорога каторжников. Скрипя и дребезжа, катились тачки по камням и тащили за собой людей, измученных, потных, черных от пыли. Казалось, это не люди идут, а сами тачки с прикованными к ним человеческими руками.

Словно никогда не было на земле ни железных дорог, ни автомобилей, ни пара, ни электричества и человек еще не приручил лошадь; словно никогда не было на земле магазинов, и люди всегда брели за хлебом туда, где его сеют, словно никогда ничего не было на земле - только тачки, да горбатые спины, да пыльная дорога впереди...

Подле тачек устало и безнадежно брели люди. Старики и женщины. Шли семьями. Муж и жена по очереди толкали тачку. Восьмилетняя девочка несла на руках маленького брата и прижимала его к себе бережно и любовно, как мать. В тачке сидел малыш и навзрыд плакал, раздирая пальцами опухшие от пыли глаза. Ничего уже не было на земле у этой семьи - ни родного

города, ни дома, ни своей крыши.

Для них не было ни высокого неба, ни крылатых облаков на нем, ни зеленых верхушек деревьев. Клочок пыльной дороги впереди - вот и все. И они проклинали дорогу. Они ощущали солнце только затылком, немилосердное, злое солнце, - и они проклинали солнце. Их плечи дрожали и ежились под внезапными дождями - и они проклинали дожди. Их окровавленные, стертые руки уже не могли толкать тачку - и они проклинали руки. Но того, кто был единственным виновником их горя, нельзя было проклинать вслух. И они, измученные дорогой и тачкой, проклинали Гитлера каждым вздохом усталой груди, каждым плевком обметанного зноем и пылью рта, каждым стоном ребенка.

Тарас стоял на перекрестке и растерянно глядел на дорогу. "Боже ты мой! Боже ты мой!" - повторял он, качая головой. Он и не представлял себе раньше размеров народного бедствия. "Боже мой! Боже ты мой!" И пред этим океаном народного горя свое горе показалось ему маленьким, ничтожным.

И как ручеек, откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда вливается в море, так и старый Тарас влился в океан народного горя - и растворился в нем...

Человеческий поток принял его, закрутил, согнул над тачкой и понес. Теперь у него была только тачка да клочок дороги впереди. И для него уже не было ни неба, ни леса. Весь народ шел, прикованный к тачке, шел и старый Тарас. Через несколько часов он почувствовал, что устал. Поясница нестерпимо ныла, руки, натертые деревом, горели. "Не привык еще", - усмехнулся Тарас и свернул с дороги. В канаве отдыхали люди. Какой-то юркий седоватый человек с веселыми глазами тотчас же спросил Тараса:

- Откуда?

Тарас сказал.

- Куда же вы идете? - удивленно всплеснул руками юркий человек.

- Как куда? - пожал плечами Тарас. - На Днепропетровщину...

- А зачем?

Тараса рассердил этот допрос, он не ответил.

- Если вы идете туда за хлебом, - торопливо сказал юркий, - так я вас не понимаю! Я сам из города Днепропетровска. Честь имею, Петушков. Яков Иванович, парикмахер. Если бывали в нашем городе, то обязательно брились у меня. Знаете, парикмахерская Красного Креста на...

- Нет, не бывал!

- Да? Жаль! И вы идете в Днепропетровск? - всплеснул

руками парикмахер. - Я иду оттуда. Это - нищая область.

Тарас недоверчиво пожал плечами.

- Вы мне не верите? - обиженно вскричал Петушков. - Вы сомневаетесь, как такая область могла стать нищей? Так я вам скажу! - Но тут он вдруг спохватился и опасливо поглядел по сторонам. - Нет, я вам ничего не скажу! Идите! Идите!

- Ваш город давно... э... под властью... э... фюрера? - послышался вдруг голос из кювета, и оттуда приподнялся пожилой человек в пенсне.

- Наш? - переспросил Тарас. - Четыре месяца.

- А-а! - загадочно усмехнулся человек в пенсне. - А мы уже ровно год...

Тарас понял и опустился рядом со своей тачкой. Человек в пенсне и парикмахер сочувственно смотрели на него.

- А вы куда идете? - спросил он глухо.

- К Дону, - ответил парикмахер. - Там еще должен быть рай...

- Рай! Э... - усмехнулся человек в пенсне. - Мне достаточно и полного амбара.

- Рай! - закричал яростно Петушков. - Мне для моего продукта обязательно нужен рай! На меньшем не помирюсь.

Тарасу было все равно, куда идти - к Днепру ли, к Дону. Он вытащил тачку на дорогу и, подумав немного, зашагал на восток. Теперь солнце было у него на затылке. Впереди маячила верткая спина парикмахера, сзади тяжело дышал, сопел и кашлял человек в пенсне, которого звали Петром Петровичем.

Вечер застал их в поле за Донцом.

- Здесь ночевать будем? - спросил парикмахер.

- Надо бы в село... - нерешительно сказал Тарас.

- В село? Э, нет. Туда нашему брату... э... бродяге, на ночь хода нет... Запрет.

- Чей?

- Чей же? Их!

- Партизан боятся... - шепотом произнес парикмахер и тихо засмеялся.

На поле уже кое-где дымились костры тачечников, и, завидев их мирный дымок, с дороги стали сворачивать люди. Выбирали себе место на поле, ставили тачку и валились подле нее без сил.

Поле давно было вытоптано. В то жестокое лето через него не раз перекатывались армии и народы. Повсюду были видны следы боев и следы кочевий: сожженная трава, расщепленные деревья, окопы, воронки, пепел, черные остатки костров...

Прокатились через это поле беженцы и рассеялись по лицу земли. Только трупы павших лошадей у дороги остались да следы повозок, глубокие и горькие, как морщины.

Прошли по этому полю армии, истоптали его, борясь, похоронили покойников, подобрали раненых и прошли дальше, поля этого не запомнив. Только раненые помнят: их кровь на этой черной траве...

И вот раскинулся здесь теперь диковинный лагерь тачечников. Баба, сняв с себя ситцевую кофточку, стирает ее в воронке. Вода ржавая. Говорят, от глинистой почвы. А может, и от крови? Дети спят в окопах. На остатках старых костров раздуваются новые. И уже ползет к небу горький сиротский дым... Догорает закат невиданный, багрово-черный, словно впитал всю кровь и все горе земли, пламя ее битв и дым ее костров. А с дороги приходят все новые и новые толпы людей с тачками. Уже тесно на поле. Уже спят люди в кюветах. Жмутся один к другому. Из Харькова, из Полтавы, из Донбасса, из Запорожья Артемовны с мешком соли на тачке, кременчугцы с краденым на фабрике табаком, рубежане с банками краски. Словно все города Украины сбились на этом поле. Словно весь народ пошел кочевать за тачкой, искать хлеба. Хлеба!

"Украина ты моя! Украина! - горько покачал головой Тарас. - Бедолаги мы с тобой!"

Меж тем парикмахер раздул костер и теперь, любуясь, глядел, как кучерявится и завивается пламя, словно то была лучшая прическа его работы.

Со всех сторон к огню потянулись руки. Человек в клетчатом пальто и мягкой шляпе, сидевший в стороне, тоже невольно потянулся к огню, но не подвинулся, не подошел.

- А вы, гражданин, откуда идете? - любезно крикнул ему общительный парикмахер, как бы приглашая к огню и к беседе.

- Простите... гм... - глухо отозвался человек в мягкой шляпе. - Я на улице... гм... не разговариваю, - и уткнул лицо в воротник пальто.

- Интеллигент, - обиженно сказал Тарасу Петушков. - Интеллигент с высшим образованием! А коли ты интеллигент, - крикнул он яростно, - так сиди дома, нечего на дорогу выходить.

- Простите... гм... - произнес человек в шляпе, - я вижу, вы не поняли... Я - певец... Гм... Я должен горло беречь... Здесь сыро...

Петушков расхохотался:

- Ну, голос надо было дома беречь!

- Мне выбирать не приходится, - кротко возразил актер.

- Да, выбирать не приходится, - вздохнул Петр Петрович. - Если б мне два года назад приснился сон, что я, пожилой человек, бухгалтер Востриков, стану... э... бродягой, - я подумал бы: экой дурной сон! А вот... э... сбылся. Да вы подсаживайтесь, подсаживайтесь! - крикнул он актеру. - Огонь бесплатно!

- Благодарствуйте, - ответил тот, приподнимая шляпу, и пересел ближе к огню.

- Что ж это вы так? - усмехаясь, спросил Тарас. - Говорят, немцы артистов любят.

- Какая компания! - восхищенно воскликнул парикмахер. - Какое общество собралось у нашего огонька! А, Петр Петрович? И в хорошее время не каждый день соберешь такое общество.

- Да... - мечтательно крякнул бухгалтер, - к этому обществу да графинчик... С лимонной корочкой.

- С апельсинной... - коротко вставил актер.

- Зачем же с апельсинной? Общепринято с лимонной. От дедов.

- Апельсины мягче. Иначе не могу... Простите... гм... голос.

Парикмахер подбросил веток в костер. Сырые, они корчились в огне, как клубок змей, и шипели.

- Яичница с помидорами, - сказал парикмахер, - вот мое любимое блюдо, если угодно знать.

Ему никто не ответил. Он снова подбросил веток в огонь.

- А этот бурак можно варить, - послышался вдруг робкий женский голос.

- Что? - обернулся парикмахер.

Бочком к огню, положив голову на свою тачку, сидела женщина. Он повторила:

- Я говорю... вот бурак на поле... его можно варить.

- Позвольте, - всполошился актер, - но это кормовой бурак. Это корм свиньям...

- Э, батенька! - возразил бухгалтер. - Чем же люди хуже свиней? Ведь мы свинину едим?

- Ели, - поправил Тарас.

- Ну, ели! Значит...

- Только люди уж, видно, весь бурак повытаскали, - грустно сказала женщина.

- А вот мы поищем! - воскликнул парикмахер и ринулся в поле.

Он скоро вернулся, потный и всклокоченный.

- Да... - сказал он, выкладывая перед женщиной все, что собрал. - Из-за бурака и то драка. Зверь стал народ.

- Голод...

- А в чем же варить? - спросила женщина.

- Да, в чем же варить? Я и не подумал, - парикмахер беспомощно огляделся вокруг себя. Было темно, но от костров падали наземь огненные пятна. - Э! Вот! - Он наклонился и поднял что-то с земли. - Каска! - Он подал ее женщине. - Вари в ней.

Женщина повертела каску и вдруг всхлипнула.

- Что вы? - всполошились все.

- Пробитая... - она показала каску, и все увидели черную дырочку в звезде.

У костра стало тихо.

- Я другую найду! - нервно усмехнулся парикмахер и начал шарить руками в траве.

Скоро бурак сварился. Тарас достал пол-лепешки, остальные - что у кого было.

- Смотрите! - удивленно сказал парикмахер. - Вкусный бурак!

- Голод - лучший кулинар. Э-это известно... - засмеялся Петр Петрович.

- Я не возражаю против голода! - вдруг взволнованно сказал актер. Артист должен быть немного голодным - иначе поет желудок, а должна петь душа. Но я не могу, когда люди жрут! - закричал он. - Чавкают! Я служил в харьковской опере... Хорошо, пусть немцы. Я знаю немцев. У них был Вагнер. Но это... это - не немцы! Нет! Не спорьте со мной! Они заставляли меня петь у них на ужинах... и чавкали... и кричали: "К черту Вагнера!" И требовали от меня песенок, которые поются у них в борделях, - он вдруг остановился, взялся рукою за горло и зябко повел плечами. - Простите... Гм... я не должен волноваться. Голос. Должен беречь. Я еще надеюсь спеть Вагнера... Один раз в жизни. Когда... - он не докончил, но все поняли и вздохнули.

- Вам сырые яйца надо глотать... - сочувственно сказал парикмахер. Каждый день сырые яйца... Я близкий к искусству человек, я понимаю...

- Да, это хорошо... яйца... - расслабленно произнес актер.

- Мы найдем богатое село! - вдохновенно продолжал парикмахер. - Мы найдем такое место, где еще есть яйца!.. И амбары, полные хлеба!.. И нас встретят, как желанных гостей... и...

- Нет таких сел, Яков Иваныч, - покачал головой бухгалтер.

- Есть! - закричал Петушков. - Должны быть! Для моего продукта мне нужно село богатое, неразоренное, веселое...

- А что у вас за продукт? - спросил Тарас.

- О! У меня продукт психологический! - уклончиво ответил парикмахер.

- Восемьдесят четыре картошки и сто семнадцать ложечек муки, - вдруг тихо прошептала женщина.

- Что? - встрепенулись все и оглянулись на нее. Женщина смутилась. Она не заметила, что произнесла это вслух.

- Нет, позвольте! - пристал к ней неугомонный Петушков. - Вы сказали что-то про картошку?

И он выпытал всю ее историю. У женщины - ее звали Матреной - на шахте остались две девочки. Старшенькой - десять, меньшенькой - пять лет. Она оставила им немного муки и картошки, по счету. И приказала брать в день три картофелины и класть в суп три ложечки муки. Старшенькая, Любаша, поклялась, что не потратит больше. Теперь у них осталось сто семнадцать ложечек муки и восемьдесят четыре картошки.

- А я еще и полпути не прошла, - вздохнула шахтерка.

- Да, и нас дома ждут голодные... - глухо сказал бухгалтер. - Сколько уж мы ходим, Яков Иваныч, с тобой...

- Так ведь не с пустыми руками ждут, с хлебом. Что мы им без хлеба? Надо найти село богатое, неразоренное, чтоб обменяли мы свое барахло с пользой...

- Где же такое село найти? - вздохнул бухгалтер. - И найдем ли?

- Найдем! - уверенно ответил парикмахер.

- Ну-ну!

И, переночевав подле тлеющего костра, они с рассветом все вместе отправились искать землю неразоренную...

5

Поиски земли неразоренной... Никогда Тарас и помыслить не мог, что наша земля так велика и бескрайна, что столько на ней сел и станиц, хуторов в коричневом вишенье, одиноких лесных избушек, столько дорог. И широкие, как бульвары, грейдерные, с акациями в два ряда; и старые, травой заросшие чумацкие шляхи, и новенькие, строгой профилировки, с кюветами, полными воды; и горбатые проселки с навеки окаменевшими колеями в грязи; и веселые, опушенные золотою соломою, как казацкими лампасами, полевые дорожки; и бойкие, в рытвинах и ухабах, большаки, непроезжие в грязь; и робкие, путаные степные тропки; и, как стрела, тугие, прямые просеки в лесу... Много дорог. По всем по ним прошли Тарас и его товарищи, а все еще не нашли земли неразоренной.

Неунывающий Петушков вел их и все сулил счастливую землю впереди. Но не было этой земли на горизонте. Горели села, мычали угоняемые немцами стада, плакали бабы, качались у дорог повешенные, их синие босые ноги не доставали травы.

И часто теперь к костру тачечников приходили искать пристанища бабы с детьми из сожженных сел.

- Пустите погреться, люди добрые! Ничего у нас нема. Нема хаты, нема добра. Одна душа осталась.

- Шестьдесят шесть картошек и девяносто девять ложечек муки... шептала Матрена, глядя на детей погорельцев.

Петушков теперь то и дело расспрашивал встречных

тачечников про края, из которых они идут.

- Ну, как там, а? Меняют?..

- Да меняют... - неохотно отвечали люди, - христа ради меняют... У самих ничего нет...

- То есть как нет? - удивлялся Петушков. - Куда же делось?

- Куда, куда? Известно, куда девается... - и исчезали в дорожной пыли, безнадежно махнув рукой.

После таких разговоров было еще труднее идти и верить, что есть на свете земля неразоренная.

- Нет ее, нет! - твердил Петр Петрович, но шел, как и все...

- Должна быть! - кричал парикмахер. - Не могут же немцы такую жирную землю обглодать, как косточку...

- Фашисты все могут! - качал головой Тарас.

- Шестьдесят картошек и девяносто три ложечки муки, - шептала, вздыхая, Матрена.

Дымил костер... Тлели старые, палые листья. И не было земли неразоренной.

Тарас почернел от пыли, похудел, стал совсем молчаливым. Чем больше чужого горя видел он вокруг, тем меньшим казалось свое. Ему было все равно, куда идти. Ему было все равно, что есть - бураки, лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Спина его сгорбилась над тачкой, кровавые мозоли на руках отвердели. Он шел за одержимым мечтою Петушковым и сам не знал, верит ли он, что есть земля неразоренная, или уже не верит...

По ночам у костров Петушков вдохновенно рассказывал о жирной, нетронутой земле, что ждет их впереди. Тарас молчал, бухгалтер спорил. Актер сам загорался мечтой.

- Да, да!.. - говорил он. - Это прекрасно! - и с тревогой заглядывал в глаза парикмахера. - Но дойдем ли, дойдем? - Его пальто истрепалось в дороге, к нему пристали репей да колючки, мягкая шляпа, в которой он спал, давно потеряла форму. Он был худой и старый человек, небритый, с большим кадыком: никто бы не узнал в нем знаменитого харьковского баритона.

- Дойдем! - убежденно отвечал парикмахер. - За Доном земля богатая. - И он принимался рассказывать об этой земле, и чем дольше не было сел на их пути, тем ярче и фантастичнее были его рассказы.

- Таких сел нет и никогда не было! - спорил с ним бухгалтер.

- Были, - защищал актер. - Мы давали концерт однажды, и я помню столы под вишнями... И горы душистого белого хлеба. Кувшины с молоком. Золотистый мед в прозрачных чашах... Яичница, как вечерний закат...

- Да, жили, жили! - вздыхал Тарас.

А Петр Петрович все никак не мог вспомнить, отчего он был

раньше недоволен жизнью.

- Определенно помню, - недоумевал он, - был я недоволен. А чем, отчего - хоть убей, не вспомню.

И никак не мог вспомнить, из-за чего не ладил со своим директором.

- Я из-за него и не эвакуировался... Нет, говорю, не поеду! Мне лучше с немцами жить, чем с вами, директор. А из-за чего ссорились? Э... не помню. Определенно помню: хам он был, скотина. А теперь доведись встретиться... э... расцеловал бы его, хама! Честное слово, расцеловал бы!

- Да, жили, жили...

- Пятьдесят четыре картошки и восемьдесят семь ложечек муки.

А земли неразоренной все не было.

Они вошли уже в донские степи. "Теперь скоро, скоро!" - говорил Петушков. Он повеселел. Иногда, сгорбившись над тачкой, он свистел даже.

Они шли теперь по жирной, черной, доброй земле. По вечерам над нею поднимался такой густой и сытный пар, что Петушков уверял, будто его можно мазать на хлеб, как масло. Но у них не было хлеба. Они, как воробьи, питались падалицей. Вокруг них на сотни верст осыпались и гнили пшеничные поля, - тачечники собирали и ели гнилые зерна. "Теперь скоро, скоро!" уверял Петушков. Он положительно опьянел от запахов жирной земли, клевера и гречишного меда. Он во всем видел и угадывал приметы счастливой земли, как моряк в тумане моря угадывает приметы близкого берега.

- Вишь какие станицы пошли! - говорил он. - Большие, хозяйственные... И он показывал на останки колхозных дворов и тракторных станций, на веселые крыши под железом и черепицей, на теплые, крытые скотные дворы. Его смущало, правда, что не слышно тут ни рева стада, ни кудахтанья птицы.

- Дальше, дальше все будет! - убеждал он. И все теперь верили ему. Запах гречишного меда и гниющей пшеницы раздувал их жадные ноздри...

На донских дорогах наши тачечники столкнулись с потоком из России. Появились люди из Курска, из Белгорода, из воронежских городов. Россия встретилась с Украиной, поставили рядом тачки, сели, закурили цигарки из прошлогодней сухой травы, растертой тут же на кровавых от тачки ладонях.

- В большие станицы не ходите, - советовали они друг другу, - там немецкие гарнизоны стоят... И достать ничего не достанете, да еще и последнее немцы отымут.

- Да, уж после них ходить нечего... Аккуратно едят... Как

саранча...

- Ну, как у вас? - расспрашивал Тарас людей из Курска.

Те только рукой отмахивались в ответ:

- Да как и у вас! Похвастаться нечем...

- Лютуют?

- Об этом уж не будем говорить...

И Тарас задумался, толкая свою тачку: есть ли мера людскому горю, есть ли сроки?

- Сорок восемь картошек и восемьдесят одна ложечка муки, - тревожно шептала Матрена. - Боже ты мой, боже!..

А неразоренной земли все не было.

На другой день Петушков вывел их с большака на автомобильную дорогу.

- Теперь скоро! - объявил он, словно ему было, как пророку, дано видеть сквозь туманные дали. - Теперь скоро!

Они втащили свои тачки на крепкий, сухой, укатанный грунт грейдера, и первое, что там увидели, - была распростертая женщина.

Она лежала у обочины, подле своей тачки, лицом вниз, на запад...

- Мертвая! - удивленно сказал бухгалтер.

Они столпились над ней, растерянные и подавленные. Окоченевшие руки женщины цепко впились в куль зерна... Мешок свалился с тачки и прорвался. Из него высыпались наземь хлебные зерна, - казалось, мертвые руки женщины пытаются собрать их и собрать не могут.

- Не дошла!.. - тихо прошептала Матрена.

Осторожно, чтоб не задеть мертвую колесами, обошли тачечники труп и молча побрели дальше. И снова была перед ними дорога, рыжая от пыли.

В эту ночь холодный дождь заставил их спрятаться в скирдах сена. К трем мокрым скирдам сбилось множество тачечников. Они облепили их жалким мушиным роем, забились в сено, жались друг к другу, одинаково мокрые и дрожащие. Над скирдами стоял непрерывный кашель, хриплый, больной... Никто не мог уснуть. А дождь падал и падал... Начиналась пора осенних дождей, а все не было земли неразоренной...

И Петушков вдруг подумал: "А может, ее и нет вовсе? Одно мечтание?" Но сейчас же бросился к тачке: "Промокнет продукт!" - и лег на тачку всем телом. А бухгалтер Петр Петрович задыхался в кашле и думал: "Не дойду! Разве в мои годы бродяжат?" Он давился кашлем и сплевывал густую, склизкую мокроту. Всю ночь мерещилась Матрене мертвая женщина, как лежала она, царапая окоченевшими пальцами землю, и все пыталась собрать зерна, и не могла собрать... "А дома, поди, как и у меня, голодные рты ждут. Теперь и не дождутся". Актер громко откашливался: "Гм! Гм!" Он хотел убедиться, что есть еще у него голос. Он даже крикнул что-то хрипло, простуженно. А струйки все ползли по его телу. И всю ночь стояла перед Тарасом мертвая женщина. Стояла во весь рост, протянув к нему руки, как к судьбе. "Определи, Тарас, меру за мои муки!" И он отвечал ей: "Такой меры, женщина, нет".

Утром дождь кончился, взошло солнце, на редкость молодое и веселое. Петушков воспрянул духом.

- Я всю ночь не спал, думал, - торопливо сообщил он. - И знаете, я нашел, отчего нам не везет!

Все молча смотрели на него.

- Мы все бьемся около больших дорог. Ну, ясно, тут - немцы. После них нечего искать. А нам надо в глушь! - крикнул он. - В глушь! Куда нога не ступала!

Он говорил много и горячо, и ему опять поверили, и пошли за ним.

Они ушли с большой дороги и стали пробиваться напрямик, к Дону. Петушков вел их. Одержимый лихорадкой мечты, сжигающей его яростным пламенем, он торопил их, злился, кричал: "В глушь! В глушь!" И они ползли за ним, опухшие, больные, - спотыкались, падали, но ползли.

И вот однажды, в полдень, измученные тачечники вдруг услышали то, чего уж давно не слышали: кричали петухи.

- Слушайте! - ликующе завопил Петушков и, подняв над головой руку, замер.

Но все уж и без того услышали. И остановились. И тоже замерли, не веря тому, что слышат.

Кричали петухи. Кричали так звонко, так весело, так неистово, что на всех лицах невольно появилась теплая, застенчивая улыбка, и каждый вдруг вспомнил самое лучшее, самое счастливое, что было в его жизни: кто детство, кто свадьбу, кто первую удачу. Городские люди, они вспоминали каждый свое. Петушков стоял на цыпочках, замерев от восторга, на его лице было написаны счастье и гордость. Матрена сложила руки на груди, как перед молитвой. Актер снял шляпу. Так стояли они

молча и благоговейно.

И вот из лесной чащи выплыла к ним счастливая земля. Старые седые волы медленно тащили возы и глядели на мир недоверчиво, исподлобья. И на возах вздыбились горы серебристой капусты; тугие, как бубны, арбузы глухо гудели, ударяясь друг о друга; из огромных мешков выпирала грудастая картошка; помидоры сочились кровью; в клетках метались неистовые петухи, солидно крякали утки; розовые поросята с тупым удивлением взирали на мир; хмурые мужики длинной хворостиной сердито стегали волов; а подле возов медленно шагали немецкие солдаты и все жевали.

Обоз полз медленно и долго. Мимо тачечников все плыли и плыли высокие возы, проплывали коровы с печальными, покорными глазами, бестарки с золотой пшеницей, хмурые мужики, бабы с заплаканными глазами, жующие немцы... Проплывали и исчезали вдали. Вот и последний воз скрылся в лесной чаще. Прошла, прошумела и растаяла счастливая земля. Актер медленно опустился на тачку и, уткнувшись в шляпу, заплакал.

- Как я их ненавижу! Как я их ненавижу! - сдавленным шепотом произнес Петушков и сжал кулаки. - Я их и брить не мог. Щеки брею - ничего. А как дойдет до горла...

- Тридцать три картошки и шестьдесят шесть ложечек муки, - прошептала Матрена и заплакала. - Боже ж ты мой!

Больше никто ничего не сказал.

Матрена вдруг встала, вытерла рукавом глаза и низко поклонилась Петушкову, потом остальным.

- Спасибо вам, товарищи, за компанию, за доброту вашу. Низкое спасибо!

- Ты что? - испуганно спросил ее Петушков.

- Нельзя мне! - строго сказала Матрена. - Назад пойду. Мои последний запас едят.

- А... а хлеб как же? Что ж привезешь домой?

- Уж как есть. Обменяю где-нибудь или выпрошу за ради Христа.

- Ну, иди! - тихо сказал Петушков и нерешительно обвел глазами спутников. - А мы еще пойдем... немного...

Матрена взялась за тачку и вытащила ее на дорогу.

- Может, покойникам хлеб привезу... - сказала она, - а все идти надо.

- Прощай, Матрена! - негромко сказал Тарас. - Тебе надо дойти.

- Авось дойду! - вздохнула шахтерка.

Тачечники долго смотрели ей вслед. Вот она скрылась...

- Ну-с! - как можно веселее сказал парикмахер и вдруг увидел лицо актера. Тот сидел, закрыв глаза; дряблый подбородок его отвис и дрожал мелко и часто.

"А он не дойдет! - испуганно подумал парикмахер. - Он никуда не дойдет".

- Вам что, плохо? - сочувственно спросил он, осторожно трогая актера за плечо.

- А? Да... Извините... Ослаб! - сознался актер. Он попытался, как всегда, улыбнуться, но улыбка не вышла. Он виновато развел руками. - Вот ведь подлость какая! А? Извините...

Он извинялся за свою немощность, а Петушков вдруг в первый раз почувствовал свою вину перед ним и перед всеми. "Что же я тащу их, старых людей, неведомо куда? Может, и нет на свете неразоренных сел?"

"А какая хорошая мечта была? Красивая!" - пожалел он и, вздохнув, сказал:

- Ну что ж! Зайдем в ближнее село. Поглядим!

Ближнее село оказалось большой, полупустой станицей. Много хат было заколочено досками крест-накрест, еще больше стояло без крыш и дверей, словно лежали среди села трупы непогребенных.

Парикмахер выбрал хату побогаче и постучал в окошко. Выглянула женщина с добрым и больным лицом. Увидев тачечников, она грустно покачала головою.

- Войти можно? - вежливо спросил парикмахер.

- Та можно! - ответила женщина и отперла калитку.

Они вкатили свои тачки в широкий и пустой двор, весь усыпанный желтой листвой, как ковром.

- Ну вот! - весело сказал парикмахер. - Принимай купцов, хозяйка!

- Купцы пришли, а покупателей черт ма! - грустно ответила баба.

- Нет, ты товар погляди, товар! - закричал Петушков. - Ну, давайте! - и обернулся на актера. Тот обессиленный опустился на тачку.

- Что же вы? - шепотом спросил его парикмахер. - Давайте!

Актер только безнадежно махнул рукой в ответ.

- Ну, давайте тогда я... покажу ваше... - Петушков заглянул в тачку актера и вытащил оттуда узлы.

- Напрасно развязывать будете, беспокоиться, - сказала женщина. Ничего у нас нет, извините.

- Нет, вы поглядите, поглядите! - не унимался Петушков и, развязав узел, широким жестом распахнул перед женщиной все богатство его. Тут были костюмы актера, добротные, щегольские,

сразу вызывавшие в памяти всех то далекое, довоенное время, когда и они, тачечники, как люди, ходили в концерты, покупали обновки, обсуждали с портным покрой костюма, как судьбы мира.

- Богато ходили! Чисто! - почтительно сказала женщина и с уважением пощупала сукно костюма.

- Это мой концертный фрак... - слабым голосом произнес актер и отвернулся.

- Вы знаете, кто это? - прошептал Петушков, наклоняясь к казачке. - Это артист! Его весь мир знает. Он сам эти костюмы носил. Ведь это только ценить надо.

- Сочувствую, - сказала женщина. - Всею душой сочувствую... - Она с грустью посмотрела на костюмы и опять пощупала сукно. - Только нет у нас ничего, поверьте! Все забрали...

Актер дрожал теперь, точно в ознобе. Он поднял воротник пальто и втянул плечи. Но его трясло и шатало от слабости, старости и голода. Подбородок теперь прыгал, и актер никак не мог совладать с ним.

Казачка испуганно посмотрела на него.

- Больны они? - спросила она шепотом.

Петушков только горько махнул рукой в ответ.

Женщина вдруг метнулась в хату и тотчас же вышла оттуда, неся каравай хлеба, кувшин и тарелку с тоненько нарезанными ломтиками сала. Она поставила все это перед актером. Тот испуганно отпрянул.

- Кушайте, будьте добры! - поклонилась ему казачка. - Не побрезгуйте. Корову взяли, так что только коза... уж извините...

- Нет, нет! - замахал на нее руками актер. - Я не могу даром... Что вы?

- А денег я не возьму... - тихо сказала казачка.

Петушков жадно взглянул на еду. Давно, давно не ели они печеного хлеба. Он проглотил слюну и подошел к актеру.

- Ешьте! - убежденно сказал он. - Ничего! Ешьте!

На лице актера проступили багровые пятна.

- Но как же!.. - прошептал он. - Я - артист... Меня знают... Я горд... Я не могу милостыню... Спасибо, но...

Он взглянул на женщину. Она стояла перед ним, низко опустив голову, и теребила руками фартук.

Актер медленно поднялся с тачки, снял шляпу, посмотрел куда-то вверх, в сизое холодное осеннее небо, прижал шляпу к груди - и вдруг запел. Из его горла вырвались слабые, хриплые, больные звуки, но он не заметил этого и продолжал петь. И Тарас с удивлением увидел, как на его глазах молодеет человек и голос начинает крепнуть, вот уже звенит металлом. А может, только показалось ему? Казачка благоговейно замерла на месте и,

сложив на груди руки, смотрела прямо в лицо актера не мигая. У плетня стали собираться соседи - мужчины и бабы. Протискивались во двор. Бабы уже плакали, дивчата вытирали глаза косынками, старики опустили головы на палки и сняли шапки... Актер все пел, протянув перед собой шляпу, арии и песни - все подряд. Он благодарил казачку. И не за вдовий хлеб ее - за добрую душу. Он всех благодарил своею песней. Всех, кто слушал его, старого, больного русского артиста, кто прощал ему простуженное горло и вместе с ним плакал над его песнями, как только русские люди умеют плакать...

Он кончил и обессиленно опустился на тачку. Все молчали. Только бабы все еще всхлипывали и вытирали глаза углами косынок.

Из толпы вдруг выступил старый дед и строго посмотрел на всех.

- Этот человек кто? - спросил он, ткнув пальцем в сторону актера. Потом укоризненно покачал головой. - Этот человек, граждане, артист. Вот кто этот человек. Не похвалит нас наша власть, если мы такого человека не сберегем. Так я говорю, га? - Он снова строго посмотрел на односельчан, потом обернулся к актеру. - Вы у нас оставайтесь, прошу я вас. Если сила есть, еще споете, а мы поплачем. А нет - живите так... Га?

- Живите! - сказала актеру хозяйка-казачка...

- Ну-с? - спросил Петр Петрович, когда, простившись с актером, тачечники вышли из села. - Ну-с, а мы? Может, э... по дворам пойдем? А? С рукой протянутой? - Он посмотрел на Петушкова.

Парикмахер вдруг озлился.

- Мне что? - закричал он тонким, петушиным фальцетом. - Я из-за кого стараюсь? Мой продукт в любом селе бабы с руками оторвут. И, уж будьте уверены, полной мерой заплатят...

- Что ж это за продукт? - недоверчиво спросил Тарас.

Парикмахер тихонько засмеялся и подмигнул всем.

- Пудра, - шепотом сказал он, - пудра, если угодно знать.

- Пудра? - оторопел Тарас.

- Что? А? Хитро пущено? - ликовал Петушков. - А-а? То-то! Психологический продукт! Вы скажете: война. А я вам отвечу: женщина. Женщина всегда остается женщиной, ей всегда пудра нужна. - Он нежно поглядел на свою тачку. - С руками оторвут.

- Да-а... - сказал бухгалтер. - Продукт - первый сорт. Только... э... куда же дальше идти? Дальше... э... некуда.

Действительно, дальше было некуда. Они всю землю прошли от Днепра до Дона, - не было неразоренных сел. Дальше начиналась обожженная прифронтовая полоса. Идти было некуда.

Теперь и Петушков понял это. Но он еще не хотел расставаться с мечтой.

- К вечеру, - загадочно сказал он, - мы, наконец, придем.

Попутчики недоверчиво посмотрели на него, но пошли. К вечеру они вошли в станицу. Она была, как и сотни других оставшихся позади, такая же полувымершая, сонная, пустая, с тоскливо нахохлившимися избами, с мокрой соломой на крыше, с тощими дымками из труб, но Петушков сделал вид, что это и есть то, чего они искали.

- Ну, вот! - ликующе закричал он, украдкой поглядывая на попутчиков. Вот оно, вот оно, то самое!

Они притворились, что верят и его словами и его радости. Только бы уж конец, дальше идти некуда.

- А ну, налетай, налетай! - весело закричал Петушков бабам у колхозного двора. - Прошу внимания. Имею предложить красным девушкам, а также молодайкам секрет красоты и вечной молодости. Вот! - ловко выхватил он из тачки свой мешок. - А ну, налетай!

Его сразу же окружили девки и бабы, радуясь веселому человеку.

- Что это, что? - заверещали они.

- Это - пудра! - во всю силу своих легких крикнул Петушков.

Стало тихо.

Молодая простоволосая казачка, ближе всех стоявшая к Петушкову, недоверчиво покосилась на его мешочек.

- Пудра?

- Лебяжий пух! - ответил Петушков.

- Это что ж? - тихо спросила казачка. - В надсмешку?

- Нет, почему же? - растерялся парикмахер. - Я всей душой...

- Над вдовьим горем нашим надсмеяться пришел? - покачала головой казачка. - Ай-яй-яй-яй, стыдно тебе, пожилой ты человек!

- Нет, ты скажи, для кого нам пудриться? - зло закричала пожилая баба и рванула с головы платок. - И без пудры поседели от горя нашего!

Теперь зашумели все:

- Ты мужиков наших верни, а тогда - пудру...

- Ты нам прежнюю жизнь верни!

- Для кого нам пудриться, для немцев?

Они подступали к нему яростные, беспощадные, как потревоженные осы, он горе их разбередил. Петушков отмахивался от них обеими руками и бормотал:

- В городе нарасхват брали...

- Шлюхи брали! - закричала простоволосая казачка. - А мы закон знаем, бесстыдник ты, срамник.

- Сам пудрись! А у нас - радости нет!

Тарас и бухгалтер подхватили парикмахера и чуть не на руках вынесли его из толпы.

Вслед им полетели комья грязи и глины...

- Так! - приговаривал Тарас, когда комок шлепнулся подле них. Правильно, бабы! Грязью нас, грязью! Мы вам грязь принесли, и вы нас грязью. Так!

Петушков, согнувшись, брел за своей тачкой...

- Ну-с! - как всегда насмешливо, начал Петр Петрович, но, взглянув на Петушкова, только рукой махнул.

Ночевали на большой дороге...

Где-то, словно дальний гром, гремели орудия. Тарас снял шапку, прислушался. По его лицу прошло легкое, счастливое облачко...

- Хоть голос услышал, - сказал он. - Вот и недаром шел.

Какой-то человек, неподалеку от него, негромко говорил людям:

- А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит, и стоять будет.

- А вам откуда известно? - спросил ехидный голос из темноты.

- А что знаю, то говорю, - спокойно ответил человек, и Тарас стал прислушиваться к его голосу. - У немцев под Сталинградом неустойка вышла. Крепок орешек, не по зубам!

Тарас обернулся к Петру Петровичу и тихо попросил его:

- Тому человеку, что говорит, скажите - пусть ко мне подойдет.

Петр Петрович удивленно взглянул на Тараса.

- Убедительно прошу! - тихо, но взволнованно прибавил Тарас.

Бухгалтер пошел и сейчас же вернулся с тем, кого звал Тарас. В темноте лица его не было видно.

- Кто меня звал? - сказал человек в темноту. - Зачем?

- Я звал, - негромко ответил Тарас. - Здравствуй, Степан.

- А-а! - с секунду длилось молчание. Потом человек сказал тоже негромко: - Здравствуйте, батя!

Это был старший сын Тараса, Степан.

6

Да, это был старший сын Тараса, Степан.

- Ну, здравствуй, отец! - снова удивленно повторил он. - Что же ты тут делаешь... на дороге?

- Ищу землю неразоренную, - усмехнулся Тарас в усы.

- А! И не нашел?

- Нет! Отчаялся.

- Да-да... А неразоренная земля недалеко... За Волгой.

- Недалеко, а ходу туда нет.

Они сели в сторонке от людей - Тарас на пень, Степан прямо так, на траву.

- Про тебя не спрашиваю, - сказал Тарас. - Я землю неразоренную ищу, а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?

- Да, - засмеялся Степан. - Пожалуй, что так.

- И находишь?

- Много.

- Много? - недоверчиво протянул отец. - Я не встречал...

- Значит, плохо ищешь...

- Я и не ищу! - отмахнулся старик. - Каждый по своей совести живет. Я про свою душу знаю, а что до чужой - мне дела нет.

- Вот оно и выходит: причина вся - все мы в одиночку чистые...

Тарас не ответил. Они помолчали немного.

- А я тебя в армии считал, - сказал отец. - А ты, выходит, вот где?..

- Да... Так вышло...

- А мне говорил: в армию иду!

- Ну, отец, всего сказать нельзя было... - пожал плечами Степан.

- Это отчего ж? - хмуро спросил старик.

- Да ведь дело-то мое... - ответил Степан, оглядываясь, - секретное... партийное... Так вдруг и не расскажешь!

- А в этом деле беспартийных нет! - сердито проворчал старик. - Мог и сказать. Не чужому. Теперь все партийные! Немцы выучили...

- Да, - засмеялся сын. - Теперь я бы сам сказал... И меня кой-чему выучили...

- Ну, а Валя где? Эвакуирована?

- Нет... Здесь...

- Где здесь? - удивился старик.

- Ну, вообще здесь... Тоже, как и я, ходит, - он наклонился ближе и прошептал: - Она сейчас там... на неразоренной земле... У наших... Я ей навстречу иду... Должны встретиться.

- Скажи-ка! - протянул Тарас. - Вот те и Валя! Так ведь она ж... женщина!

- Вот, как видишь!

- И не молоденькая!

- Я ей сам говорил... Вот тоже, как и ты, ответила: теперь беспартийных нет. Так и ходит.

- Ходит! - воскликнул Тарас и ударил себя по коленям. - А? Скажи пожалуйста. А мне хоть бы слово, хоть намек... сукины вы

дети! Не прощу!

Степан усмехнулся, ничего не сказал.

- Что ж ты про сына не спросишь? - проворчал старик. - И отца забыл и сына? Вот вы какие...

- Да я знаю о нем... немного... Жив ведь Ленька, здоров?

- Ну, здоров, - ответил Тарас и вдруг спохватился. - Постой, постой. Да ты от кого знаешь?

- Ну, от Насти... - неохотно выдавил сын. - Пишет она мне... иногда... Люди приносят...

- Та-ак... - горько покачал головой Тарас. - Заговорщики! Ну, Степан, вовек я тебе этого не прощу. Не прощу, нет. А Настю - приду - выпорю.

- Так ведь я ж свою ошибку признал, - засмеялся сын. - Видишь вот, не таюсь.

- Не таюсь! Еще бы от родного отца таиться. Да кто тебя человеком сделал, а? Да я, если хочешь знать, я тебя в большевики вывел!

- Тсс!

- Верно ведь? - шепотом спросил все еще злой Тарас.

- Верно, отец, верно. Все верно!

- Нет мне от сынов радости, чертовы вы дети! - проворчал он, не унимаясь. - Один в плен попал, еле выдрался. Другой от отца таится. От третьего вестей нет. Один я, как пень, старый дурак, хожу по свету.

Он снова посмотрел на сына. В темноте было смутно видно его лицо, только глаза блестели.

- Ну, давай! - дрогнувшим голосом сказал старик. - Давай, как люди, поцелуемся хоть. - Он обнял голову сына, привлек к себе и прошептал прямо в ухо: - Спасибо, сын! Спасибо, что не обманул... Я на тебя надеялся больше, чем на всех... Спасибо! - И он поцеловал его. Потом легонько оттолкнул и добродушно проворчал: - Эть, бородатый какой! Только по голосу тебя и признал. Голос - мой. Ну, пойдем! - сказал он, подымаясь. - Покажу я тебе моих попутчиков.

Они подошли к костру, и Тарас представил Степана:

- Вот. Земляка встретил.

- А-а! - равнодушно отозвался Петр Петрович. - Ну, садитесь, грейтесь!

Петушков скользнул по лицу Степана неопределенным взором и тотчас же забыл о нем. Охватив голову руками, он раскачивался над огнем, вздыхал, бормотал что-то...

- Вы что, больны? - вежливо спросил Степан.

- А? Да, да... Больной... больной я... - пробормотал парикмахер. Старый, маленький, глупый человек... Это я...

Пожалуйста... И мне ничего не надо на земле. Ничего... Только гранату... Одну гранату. Больше я ничего не скажу.

Степан усмехнулся. Все разговоры на большой дороге кончались тоской по гранате, это он отлично знал. Он за то и любил большую дорогу, что люди здесь разговаривали вольно, не таясь, не то что в городах и селах, где глядят на незнакомого человека недоверчиво и заранее боятся и того, что он скажет, и того, о чем он умолчит.

На большой дороге всегда говорят о гранатах, и Степан не раз думал, что если б каждое ненавидящее Гитлера русское сердце швырнуло бы во врага одну гранату - только одну, - от немецкой армии мокрого места не осталось бы. Но голая ненависть не швыряет гранат, это он тоже знал. Гранаты кидает мужество.

Степан лежал сейчас у костра, глядел в огонь, а перед ним, шумя, проходили все эти месяцы борьбы и хождения по мукам.

7

Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И сомнения были, холодные, колючие. И, бывало, схватывало за горло отчаянье. Все было! Но зато в минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь незнакомого, но родного человека, и он распахнет перед тобой, доверясь, все богатство своей души, непокоренной, красивой русской души, и спросит: "Как же быть, товарищ? Научи, что делать?" - и ты вложишь оружие в его тоскующие руки. Нет, не хождение по мукам. Старик отец хорошо сказал: "поиски душ неразоренных". Да, поиски...

Когда в июле стояли они с женой на дороге и мимо них, окутанные пылью, проходили на восток последние обозы, он вдруг почувствовал на минуту - но долгой была эта минута, - как у него из-под ног медленно и неотвратимо уползает земля...

- Валя! - сказал он, не глядя на жену. - Тебе еще не поздно! А?..

Она тихо засмеялась.

- Отчего вы все, мужья, такие? Ей-богу, хуже матери. Мать благословила бы...

А он чувствовал, как уползает, уползает из-под ног земля, на которой было так легко и привычно жить.

- Ты бы уехала, Валя, а? И без тебя все сделается.

- А я не хочу, чтоб без меня, - сказала она, хмурясь. - Сейчас беспартийных нет...

Он обнял жену за плечи, погладил ее седеющие волосы. Последние обозы проходили на восток и пропадали в пыли...

В тот же вечер Степан и Валя Яценко ушли в подполье, это

было как переселение в другой мир. Степану оно далось куда труднее, чем Вале.

Он не сразу осознал, что произошло. Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно, властно - сегодня должен красться тайком. По своей земле!

Эта земля... Он знал ее всю, на сотни верст вокруг, ее морщины, ее складки и рубцы, ее видные всем богатства и известные только ему одному болезни и нужды... Он ставил на ней города, прорубал новые шахты, он планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином. Он любил во все входить сам. Он ничего не прощал ни себе, ни людям. Часто останавливал он машину ночью на дороге, вылезал из нее и кричал: "Не так пашете! Не так мост кладете! Не так гатите гать! Сделайте так и так. При мне! Чтоб я видел". И люди не спрашивали, по какому праву приказывает им этот незнакомый грузный человек. От его большого, могучего тела исходил ток власти. В его голосе, густом и сильном, была власть. В его глазах, цепких, острых, горячих, была власть. И люди послушно ей покорялись.

А сейчас Степану надо согнуть свое большое тело. Надо стать незаметным. Научиться говорить шепотом. Молчать, хотя б душа твоя кричала и плакала. Потушить глаза, спрятать в покорном теле свою непокорную душу.

Один только Степан знает, каких трудов и мук ему это стоило. Да Валя знает. Никогда, за долгие годы семейной жизни, не были они так близки, как сейчас. Валя все видела, все понимала.

- С чего же мы начнем, Валя? - спросил он в первый же день их подпольной жизни. Спросил невзначай, небрежно, словно и не ее, а самого себя вслух, а она услышала и поняла: растерялся Степан, не знает... мучится...

Да, растерялся...

Раньше он всегда знал, с чего надо начинать, как запустить в ход большую, громоздкую машину своего аппарата. И день и ночь дрожал, фыркал у подъезда мотор запыленного, забрызганного грязью "голубого экспресса". Трепетали барышни на телефонной станции. Сотни людей были под руками, ждали приказаний.

А сейчас Степан был один. Он да Валя. Маленькая, худенькая женщина. Да где-то там, во мраке ночи, еще десяток таких, как он, сидят, забившись в щели, ждут: придет человек, который скажет, как начинать дело. Они не знают, кто этот человек. Они

знают только: он должен прийти.

Этот человек он - Степан.

Против него - враг сильный и беспощадный. У него, а не у Степана власть. У него, а не у Степана земля. У него, а не у Степана армия.

- Вот что, Валя, - нерешительно сказал он, - пожалуй, поступим так... Ты оставайся тут... как центр... А я пойду к людям.

- Ну что ж! - сказала она, внимательно на него глядя. - Иди. Это правильно.

Они просидели до утра, рядышком, словно это была их первая ночь. Но о любви они не говорили. Они вообще говорили мало, но каждый знал, о чем думает, и о чем молчит другой, и о чем старается не думать. Из слов, сказанных в эту ночь, немногое уцелело в памяти Степана, - да и не было их, значительных слов! - но навеки запомнилась рука Вали, теплая и покойная; как лежала эта рука на его плече и успокаивала, и ободряла, и благословляла: иди.

Утром он пошел, а она осталась здесь, на хуторе, у своих стариков. Прощаясь, он сказал ей:

- К тебе тут люди будут приходить... Так ты принимай их... говори...

- Хорошо, - сказала она.

Все это он сказал ей и ночью раз десять.

Он потоптался еще на пороге.

- Ну, прощай, хозяйка.

- Иди!

Он пошел, не оглядываясь. Но, и не оглядываясь, знал он: подняв руку, стоит жена на пороге. Он шел и думал об этой руке.

Ему не надо было спрашивать дороги - он шел по своей земле. Никогда не покидал ее. Был с ней и в пиры и в страду. Вот он с ней в дни ее горя. Больше не был он ей хозяином, - что ж, остался ей верным сыном.

И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда открылась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звенела она, и пела, и ластилась к его ногам. А он шел через серебристые ковыли и жадно вдыхал ее запахи - густые, тягучие, жаркие. Горькая полынь смешивалась с медовым клевером, кладбищенский чебрец с нежной мятою, запах жирной, черной сырой земли с знойным дыханием степного ветра. А на горизонте синели далекие острые конусы глеевых гор, оттуда приходил запах тлеющего угля. Все детство в нем, в этом запахе, вся жизнь в нем - для человека, рожденного на дымной донецкой земле. Она и в горе хороша, родная земля! В горе ее бережнее любишь.

- Хальт! Хальт!

Степан остановился.

К нему подошли два немца.

- Где ишёль?

- С окопов иду... Окопы рыл... - ответил он.

- Папир?

Он протянул бумаги. У него были хорошие, надежные справки. Он не боялся патрулей. Немцы стали вертеть бумажки. Степан молча ждал: "Вот они, немцы!"

- Сапоги! - сказал вдруг немец.

Степан не понял.

- Эй! Кидай! - нетерпеливо закричал солдат.

Степан снял сапоги. Немец, тот, что был побольше, примерил их. Они были чуть великоваты ему, но он радостно сказал: "Гут!" - и похлопал рукой по голенищам.

"Вот так они и в землю нашу влезли, как в мои сапоги, - нахально! - с горечью подумал Степан и сжал кулак. - Схватить вот этого за горло и задушить. Хоть одного из них! Хоть этого!"

Но тут он вспомнил Валину руку и словно почувствовал на своем плече ее теплые, покойные пальцы. Он сгорбился и пошел. Немцы подозрительно смотрели ему вслед. Ему еще надо учиться ходить.

К концу третьего дня он пришел наконец на шахту Свердлова - в первый пункт своего маршрута. Он пошел по поселку, - здесь его знали. На площади на него вдруг упала огромная, мрачная тень виселицы. Он невольно вскрикнул и поднял глаза. На виселице стыли трупы, и среди них человек, к которому он пришел: Вася Пчелинцев, кучерявый комсомольский вожак.

- А давайте-ка споем, товарищи, - говорил он, бывало, на заседаниях, когда все осовело клевали носом от усталости, а ворох дел все не иссякал. Ведь как это говорится: "Песня строить и заседать помогает". Ну? - и, не обращая внимания на неодобрительные взгляды солидных товарищей, первый подымал песню.

Вот он висит, кучерявый Вася Пчелинцев, скорчившийся, синий, не похожий на себя...

- Как он попался? - спросил Степан у старика Пчелинцева, которого тем же вечером нашел.

- Выдали... - глухо ответил старик.

- Кто выдал?

- Предполагаю, Филиков.

- Как, Филиков? - чуть не закричал Степан.

- Больше некому. Филиков у них теперь служит.

- У немцев? Филиков?

Степану показалось, что покачнулся мир... Филиков! Предшахткома! Еще бородка у него лопаточкой. Когда, бывало, Вася запевал, Филиков первый подтягивал добродушным, дребезжащим баском. Вот Пчелинцев висит, а Филиков служит фашистам...

Это была первая виселица, которую видел Степан, и первая измена, о которой он слышал. Потом их было много. На всем пути качались на виселицах его товарищи, глядели на него стеклянными глазами...

Запомни, Степан, запомни, - скрипели виселицы. - Помстись!

- Запомню, - отвечал он в душе своей. - И лица и имена... запомню.

Ему рассказывали об изменниках, о тех, кто отрекся от партии и народа, предал товарищей, пошел служить фашисту... Он хмурил брови и переспрашивал: - Как фамилия? - и повторял имя про себя. - Запомню!

- Вы машинистку у нас в исполкоме помните? Клаву Пряхину? - Он напрягал память, морщил лоб. Вспоминалось что-то тихое, безответное... Действительно, когда приезжал он в этот исполком, какая-то девица была... Он слышал, как она стучит на своем ундервуде. Голоса ее он не слышал никогда.

- Когда ее вешали, - рассказывали ему, - она кричала: "Не убить, черные вы гады, нашей правды. Народ бессмертен!"

- Клава Пряхина? - удивленно шептал Степан. А он и вспомнить ее не может.

- А Никита Богатырев...

- Что, что Никита? - беспокойно спросил он. Никиту он знал. Огромный, в сером пыльнике балахоном, в сапогах, от которых всегда пахло дегтем, он, бывало, шумел в кабинете Степана: "Не боюсь я тебя, секретарь, никого не боюсь! А как правду-матку резал, так и буду резать". Степан предполагал поставить Никиту командиром партизанского отряда.

- Когда Никиту притащили в гестапо, - рассказывал, протирая очки, сутуловатый Устин Михалыч, завучетом райкома, - он по полу ползал, офицеру сапоги целовал, плакал...

- Никита?!

Значит, плохо ты людей знал, Степан Яценко. А ведь жил с ними, ел, пил, работал... И повадки их знал, и характеры, и капризы, и кто какой любит табак... А главного в них не знал - души их. А может быть, они и сами про себя главного не знали? Клава считала себя робкой тихоней, а Никита Богатырев - бесстрашным бойцом. Он нашей власти не боялся - ее бояться нечего! - а перед врагом задрожал. А Клава боялась

председательского взгляда - а врага не испугалась, плюнула ему в лицо...

- Великая людям проверка идет! - качал головой Устин Михалыч. - Великая огнем очистка.

- Что Цыпляков? - спросил Степан.

- Про Цыплякова не знаю! - осторожно сказал Устин Михалыч. - Цыпляков особо живет.

- К тебе не ходит?

- Он ни к кому не ходит... Запершись сидит...

В тот же вечер Степан пошел к Цыплякову и долго стучался в его ставни и двери.

- Кто? Кто? - испуганно спрашивал Цыпляков через дверь.

- Я это. Я! Отвори!

- Кто я? Я никого не знаю.

- Да это я, Степан.

- Какой Степан? Никакого Степана не знаю! Уходите!

- Да отвори! - яростно прохрипел Степан и услышал, как испуганно звякнули и упали запоры.

- Ты? Это ты! - попятился Цыпляков, увидев его, и свеча в его руках задрожала...

Степан медленно прошел в комнату.

- Что же неласково встречаешь? - горько усмехаясь, спросил он. - Гостю не рад?

- Ты зачем?.. Ты зачем же пришел? - простонал Цыпляков, хватаясь за голову.

- По твою душу пришел, Матвей, - сурово сказал Степан. - По твою душу. Есть еще у тебя душа?

- Ничего нет, ничего нет!.. - истерически закричал Цыпляков, и, повалившись на диван, заплакал.

Степан брезгливо поморщился.

- Что ж ты плачешь, Матвей? Я уйду.

- Да, да... Уходи, прошу тебя... - заметался Цыпляков. - Все погибло, сам видишь. Корнакова повесили... Бондаренко замучили... А я Корнакову говорил, говорил: сила солому ломит. Что прячешься? Иди, иди в гестапо! Объявись. Простят. И тебе, Степан, скажу, - бормотал он, - как другу... Потому что люблю тебя... Кто к ним сам приходит своею волей и становится на учет, того они не трогают... Я тоже стал... Партбилет зарыл, а сам встал... на учет... И ты зарой, прошу тебя... немедленно... Спасайся, Степан!

- Постой, постой! - гадливо оттолкнул его Степан. - А зачем же ты партбилет зарыл? Уж раз отрекся, так порви, порви его, сожги...

Цыпляков опустил голову.

- А-а! - зло расхохотался Степан. - Смотрите! Да ты и нам и немцам не веришь. Не веришь, что устоят они на нашей земле! Так кому же ты веришь, Каин?

- А кому верить? Кому верить? - взвизгнул Цыпляков. - Наша армия отступает. Где она? За Доном? Немцы вешают. А народ молчит. Ну, перевешают, перевешают всех нас, а пользы что? А я жить хочу! - вскрикнул он и вцепился в плечо Степана, жарко дыша ему в лицо. - Ведь я никого не выдал, не изменил... - умоляюще шептал он, ища глаз Степана. - И служить я у них не буду... Я хочу только, пойми меня, пережить! Пережить, переждать.

- Подлюка! - ударил его кулаком в грудь Степан. Цыпляков упал на диван. - Чего переждать? А-а! Дождаться, пока наши вернутся! И тогда ты отроешь партбилет, грязцу с него огородную счистишь и выйдешь вместо нас, повешенных, встречать Красную Армию? Так врешь, подлюка! Мы с виселиц придем, про тебя народу расскажем... - Он ушел, сильно хлопнув за собой дверью, и в ту же ночь был уже далеко от поселка. Где-то впереди и для него уже была припасена намыленная веревка, и для него уже сколотили виселицу. Ну что ж! От виселицы он не уклонялся.

Но в ушах все ныл и ныл шепоток Цыплякова: "Перевешают нас без пользы; а верить во что?"

Он шел дорогами и проселками истерзанной Украины и видел: запрягли немцы мужиков в ярмо и пашут на них. А народ молчит, только шеей туго ворочает. Гонят по дороге тысячи оборванных, измученных пленных - падают мертвые, а живые бредут, покорно бредут через трупы товарищей дальше, на каторгу. Плачут полонянки в решетчатых вагонах, плачут так, что душа рвется, - а едут. Молчит народ. А на виселицах качаются лучшие люди... Может, без пользы?

Он шел теперь придонскими степями... Это был самый северный угол его округи. Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту и по другую сторону, ни в людях...

Но прежде чем повернуть на запад, по кольцу области, Степан, усмехнувшись, решил навестить еще одного знакомого человека. Здесь, в стороне от больших дорог, в тихой лесистой балке спряталась пасека деда Панаса, и Степан, бывая в этих краях, обязательно заворачивал сюда, чтобы поесть душистого меду, поваляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса и отдохнуть и душою и телом от забот.

И сейчас надо было передохнуть Степану - от вечного страха погони, от долгого пути пешком. Распрямить спину. Полежать под высоким небом. Подумать о своих сомнениях и тревогах. А

может, и не думать о них, просто поесть золотого меду на пасеке.

- Да есть ли еще пасека? - усомнился он, уже подходя к балке.

Но пасека была. И душистое сено было, лежало копною. И, как всегда, сладко пахло здесь щемящими запахами леса, липовым цветом, мятой и почему-то квашеными грушами, как в детстве, - или это показалось Степану? А вокруг дрожала тонкая прозрачная тишина, только пчелы гудели дружно и деловито. И, как всегда, зачуяв гостя, вперед выбежала собака Серко, за ней вышел и худой, белый, маленький дед Панас в полотняной рубахе с голубыми заплатками на плече и лопатках.

- А! Доброго здоровья! - закричал он своим тонким, как пчелиное гуденье, голосом. - Пожалуйте! Пожалуйте! Давно не были у нас! Обижаете!

И поставил перед гостем тарелку меда в сотах и решето лесной ягоды.

- Тут еще ваша бутылка осталась, - торопливо прибавил он. - Цельная бутылка чимпанского. Так вы не сомневайтесь - цела.

- А-а! - грустно усмехнулся Степан. - Ну, бутылку давай!

Старик принес чарки и бутылку, по дороге стирая с нее рукавом пыль.

- Ну, чтоб вернулась хорошая жизнь наша и все воины домой здоровые! сказал дед, осторожно принимая из рук Степана полную чарку. Закрыв глаза, выпил, облизал чарку и закашлялся. - Ох, вкусная!

Они выпили вдвоем всю бутылку, и дед Панас рассказал Степану, что нынче выдалось лето богатое, щедрое, урожайное во всем - и в пчеле, и в ягоде, а немцы сюда на пасеку еще не заглядывали. Бог бережет, да и дороги не знают.

А Степан думал про свое.

- Вот что, дед, - сказал он вдруг, - я тут бумагу напишу, в эту бутылку вложим и зароем.

- Так, так... - ничего не понимая, согласился дел.

- А когда наши вернутся, ты им эту бутылку и передай.

- Ага! Хорошо, хорошо...

"Да, написать надо, - подумал Степан, доставая из кармана карандаш и тетрадку. - Пусть хоть весть до наших дойдет о том, как мы здесь... умирали. А то и следа не останется. Цыпляковы наш след заметут".

И он стал писать. Он старался писать сдержанно и сухо, чтобы не заметили в его строках и следа сомнений, не приняли б горечь за панику, не покачали б насмешливо головой над его тревогами. Им все покажется здесь иным, когда они вернутся. А в том, что они вернутся, он ни минуты не сомневался. "Может, и костей наших во рвах не отыщут, а вернутся!" И он писал им

строго и сдержанно, как воин воинам, о том, как умирали в застенках и на виселицах лучшие люди, плюя врагу в лицо, как ползали перед немцами трусы, как выдавали, проваливали подполье изменники и как молчал народ. Ненавидел, но молчал. И каждая строка его письма была завещанием. "И не забудьте, товарищи, - писал он, - прошу вас, не забудьте поставить памятник комсомольцу Василию Пчелинцеву, и шахтеру-старику Онисиму Беспалому, и тихой девушке Клавдии Пряхиной, и моему другу, секретарю горкома партии Алексею Тихоновичу Шульженко, - они умерли как герои. И еще требую я от вас, чтобы вы в радости победы и в суете строительных дел не забыли покарать изменников Михаила Филикова, Никиту Богатырева и всех тех, о ком я выше написал. И если явится к вам с партийным билетом Матвей Цыпляков - не верьте его партбилету, он грязью запачкан и нашей кровью".

Надо было еще прибавить, подумал Степан, и о тех, кто, себя не щадя, давал приют ему, подпольщику, и кормил его, и вздыхал над ним, когда он засыпал коротким и чутким сном, а также о тех, кто запирал перед ним двери, гнал его от своего порога, грозил спустить псов. Но всего не напишешь.

Он задумался и прибавил: "Что же касается меня, то я продолжаю выполнять возложенное на меня задание". Ему захотелось вдруг приписать еще несколько слов, горячих, как клятва, - что, мол, не боится он ни виселицы, ни смерти, что верит он в нашу победу и рад за нее жизнь отдать... Но тут же подумал, что этого не надо. Это и так все про него знают.

Он подписался, сложил письмо в трубку и сунул в бутылку.

- Ну вот, - усмехаясь, сказал он, - послание в вечность. Давай лопату, дед.

Они закопали бутылку под третьим ульем, у молоденькой липки.

- Запомнишь место, старик?

- А как же? Мне тут все места памятные...

Утром на заре Степан простился с пасечником.

- Хороший у тебя мед, дед, - сказал он и пошел навстречу своей одинокой гибели, навстречу своей виселице.

Эту ночь он решил пробыть в селе, в Ольховатке, у своего дальнего родственника дядьки Савки. Савка, юркий, растрепанный, бойкий мужичонка, всегда гордился знатным родственником. И сейчас, когда в сумерках заявился к нему Степан, дядька Савка обрадовался, засуетился и стал сам тащить на стол все из печи, словно по-прежнему почетным гостем был для него Степан из города.

Но они и сесть за стол не успели, как без стука отворилась

дверь и в хату вошел высокий пожилой мужик с седеющей бородой и с глазами острыми и мудрыми.

- Здравствуйте! - сказал он, в упор глядя на Степана.

Степан встал.

- Это кто? - тихо спросил он Савку.

- Староста... - прошептал тот.

- Здравствуйте, товарищ Яценко! - усмехаясь, сказал староста и подошел к столу. Степан побледнел. - Смело вы по селу ходите. Я из окна увидал, узнал. Ну, еще раз здравствуйте, товарищ Яценко. - И староста спрятал насмешливую улыбку в усы.

"Вот и все! - подумал Степан. - Вот и виселица!"

Но он по-прежнему спокойно, не двигаясь, продолжал стоять у стола.

Староста грузно опустился на лавку под иконами и, положив на стол большие узловатые руки с черными пальцами, посмотрел на Степана.

- Сидайте, - сказал он, усмехаясь. - Чего стоять? В ногах правды нет.

Степан подумал немного и сел.

- Так, - сказал староста. - А вы меня не узнали?

Степан посмотрел на него. "Где-то видел, конечно, - мелькнуло в памяти. - Должно быть, раскулачивал я его... Не помню".

- Та где там! - засмеялся староста. - Нас, мужиков, много, а вы - один. Як колосьев во ржи... А вы даже беседы со мной имели - правда, в опчестве, напомнил он, - наедине не приходилось. Агитировали вы меня в колхоз. Шесть лет меня все агитировали. А я шесть лет не шел. Несогласный я, кажу, и все тут. Так меня с тех пор Игнатом Несогласным и зовут.

Савка подобострастно хихикнул. Степан теперь вспомнил этого мужика. Кремень.

- Несогласный я, - продолжал староста. - Это так. А на седьмой год я сам пришел в колхоз. А отчего пришел? Га?

- Ну, сагитировал, значит... - пожал плечами Степан.

- Не-ет, - покачал головой Игнат. - Меня сагитировать немысленно. Убедился я, потому и пришел. Сам убедился. И так кинул, и так положил выходит, в колхоз выгоднее. И я согласился, пришел.

Степан не понимал, к чему ведет свой рассказ староста, и нетерпеливо ерзал по лавке. "Будут селом вести - удеру, вырвусь. Рук вязать не дам".

- Теперь немец нам листки кидает, - продолжал староста, - обещает землю дать в вечное и единоличное пользование. Как думаешь, - прищурился он, даст?

- Не даст... - ответил Степан.

- Не даст? Гм... - пожевал усы Игнат. - И я так думаю: не даст! Обманет. Помещикам своим отдаст. Ну, а может, кой-кому и даст, га? Для блезира? Ну, старательным мужикам... Опять же старостам... Даст, а?

- Ну, такому, как ты, даст, - ответил Степан со злостью. - За усердие.

- Даст? Ага! - подхватил Игнат, делая вид, что тона Степана не понял. И я так прикидываю: такому, как я, даст. А я не возьму! - вдруг торжествующе закричал он и хлопнул ладонью по столу. - Не возьму я! Га?

Степан оторопело посмотрел на него.

- Не возьму. Ты это понять можешь? Э, - махнул он вдруг рукой, - где тебе понять. Ты, товарищ, городской человек. А я мужик. Я в эту землю корнями, когтями, душою врос. Сухота моя - эта земля. И вся моя жизнь в ней же. И отцов моих, и дедов, и прадедов. Мне без земли нельзя! А только, внезапно успокоившись, докончил он, - единоличной земли мне не надо. Невыгодно мне. Не подходит. Морока. И мачтаб не тот. Моей хозяйской душе без колхоза теперь жизни нема.

- Постой, - ничего не понимая, пробормотал Степан. - Нет, ты постой! Ты за что же стоишь?

- Я за колхоз стою, - твердо ответил староста.

- Ну, значит, и за Советы? За нашу власть?

Игнат вдруг лукаво прищурился, оглянулся на Савку, подмигнул Степану и сказал, усмехаясь в усы:

- Ну, поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, окромя нашей, советской, так и для меня другой власти нет.

Степан улыбнулся и облегченно вздохнул.

- Ты как, - тихо спросил, наклоняясь к нему, Игнат, - сам от себя ходишь? Спасаешься? Или уполномоченный?

- Уполномоченный, - ответил Степан улыбаясь.

- Бумаг мне твоих не надо, - махнул рукой Игнат. - Знаю тебя. Ну, раз ты есть от власти нашей уполномоченный, могу тебе сказать, а ты передай: колхоз наш, скажи власти, живет! Как бы это сказать? Подпольно живет. Есть у нас и председатель. Прежний. Орденоносец. Замаскирован нами. И счетовод есть, книги ведет. Книги могу показать тебе. И все добро колхозное попрятано. Вот хоть у сродственника спроси. Так, Савко?

- Так, так истинно, - радостно удивляясь, подтвердил дядька Савка. Хитро сделано. Государственно.

- А немцы с нашего села ни зерна не взяли! - крикнул Игнат. - Что сами пограбили, то и есть. А мы им ни зерна не дали. А как?

Про то моя спина знает, - он задумался, опустив голову. Забарабанил черными пальцами по столу. По губам его, прикрытым седыми усами, поползла усмешка. - Староста. Немецкий староста я на склоне моих лет... Позор! Кругом старосты звери и мироеды. Кулаки. А я людям кажу: "Уважьте! Старость уважьте мою! У меня дети в Красной Армии". Не согласились со мной мужики, упросили.

- Все миром просили, - вздохнул Савка.

- Не миром, - строго поправил его Игнат, - колхозом просили меня. У тебя, говорят, Игнат, душа непокорная, несогласная с неправдой. Постой за всех. И вот - стою. Немцы мне кричат: где хлеб, староста? А я кажу: нема хлеба. А почему рожь осыпается, староста? Нема чем убирать! А почему скирды стоят, под дождем гниют, староста? Нема чем молотить! Мы тебе машины дадим, староста. Людей, кажу, нема, хоть убейте! Ну и бьют! Бьют старосту смертным боем, а хлеба все нема.

- Не могут они его душу покорить, вот что! - проникновенно, со слезой сказал Степану Савка.

- Что душу! - усмехнулся Игнат. - Спину мою, и ту покорить они не могут. Непокорная у меня спина, - сказал он, распрямляясь. - Ничего, выдюжит.

- Спасибо тебе, Игнат! - взволнованно сказал Степан, подымаясь с лавки и протягивая руку. - И прости ты меня, бога ради, прости.

- В чем же прощать? - удивился Игнат.

- Нехорошо я о тебе думал... И не о тебе одном... Ну, в общем - прости, а в чем - я сам знаю.

- Ну, бог простит, - улыбнулся Игнат и ласково обнял Степана, как сына.

На заре староста сам проводил подпольщика до околицы. Здесь постояли недолго, покурили.

- Если власти нашей, - тихо сказал Игнат, - или партизанам хлеб нужен, дай весточку, - хлеб дадим.

- Хорошо. Спасибо.

- Не мне спасибо. Хлеб не мой. Колхозный. Расписку возьмем.

- Хорошо.

- Ну, иди...

Степан протянул ему руку. Игнат взял ее, крепко зажал в своей.

- Еще вот что спрошу тебя... - прошептал он, заглядывая в глаза Степана. - Скажи - наши вернутся? Не спрошу тебя, скоро ли и когда, бо того ты и сам не знаешь. Спрошу только: вернутся ли вообще? Правду скажи! - И он впился в его глаза.

- Вернутся! - взволнованно ответил Степан. - Вернутся, Игнат,

и скоро!

- Ну вот! - облегченно вздохнул староста. - А спина моя выдержит, не сомневайся! - И он засмеялся, пожимая в последний раз Степанову руку.

Степан шел полевой дорожкой меж массивов осыпающейся ольховатской ржи и всю дорогу весело ругал себя:

"Чиновник ты! Цыплякову поверил, а в народе усомнился, чернильная твоя душа? Вот он, народ - непокорный, могучий. Бюрократ ты, кресло потертое! Не молчит он - звенит! Как сухое дерево, звенит ненавистью, по искре тоскует. А тебя, бумажная твоя душа, сюда спичкой и поставили. Да нет, не спичкой! Спичка чиркнула и погасла. Кремнем. Кремнем должен ты быть, Степан Яценко, чертова твоя душа! Чтоб от тебя искры летели и раздувалось пламя народной мести".

Обо всем этом и рассказал Степан Вале, когда они наконец встретились.

Они проговорили всю ночь.

У Вали тоже был ворох вестей для Степана.

- От Максима приходил человек, - сказала она.

- От Максима? - обрадовался он. Максим, как и он, был поставлен обкомом для работы в подполье. - Ну, что Максим?

- Пока жив! - улыбнулась Валя. - Большие дела у него! Шахтерских отрядов несколько... Три комсомольских...

- Вот как! - даже позавидовал Степан. - Это хорошо.

- Приходили от Ивана Петровича...

- Ну, ну?

- Толком ничего не сказали. Видно, меня опасаются. Но явку дали. Иван Петрович просит передать - у него в хозяйстве урожай сам-семеро...

- А-а! - усмехнулся Степан. - Иван Петрович всегда был мужик агротехнический! Ишь уродило как!

- Ну, это все вести от людей, тебе известных. А есть и от неизвестных. Никому не известных.

Степан не понял.

- То есть как?

- В Вельске кто-то красный флаг поднял на парашютной вышке. Целый день висел. Немцы боялись - заминировано. Об этом флаге только и говорят вокруг!

- Кто же флаг поднял?

- Никто не знает! Я же тебе говорю: никому не известные люди.

- Этих неизвестных людей надо найти.

- Немцы тоже ищут...

- Ну, немцы могут и не найти, - засмеялся Степан, - а нам

своих не найти совестно.

- Потом у нас - в нашем городе - тоже событие, - продолжала Валя.

- Что у нас? - всполошился Степан. Он любил свой город, гордился им и всякую весть о нем встречал ревниво.

- Немцы на главной улице каждый день сводку вывешивают. Народ читает, кто верит, кто нет, но у всех - уныние. И вот стала каждый день под немецкой сводкой появляться другая. Понимаешь? Написано детским почерком. На листке школьной тетради. Чернилами. И даже, - улыбнулась она, - с кляксами...

- Что же в этих листках? - недоумевая, спросил Степан.

- Опровержение! Какой-то малыш каждый день - заметь, каждый день! опровергает Гитлера: "Не верьте Гитлеру - все, собака, врет. Я слушал радио. Наши не отдали Сталинград. Наши не отдали Баку". Немцы срывают эти листки, ищут виновника, а ничего сделать не могут. Опровергает малыш Гитлера каждый день, и Гитлер с ним справиться не может! Об этом весь город говорит.

- Кто ж он? - взволнованно спросил Степан.

- Никто не знает. Может быть, кто-нибудь из моих малышей...

Степан удивленно посмотрел на нее, не понял. Потом сообразил, что она говорит о своих школьниках. Он всегда забывал о том, что она не только жена.

- Да, может быть, кто-нибудь из твоих мальчиков... - сказал он, извиняясь за свою забывчивость.

- И я все думаю: кто? - продолжала Валя, сияя влажными глазами. - Это кто-нибудь из наших радиолюбителей. Но в седьмом классе все мальчики увлекаются радио. И я не знаю - кто. Иногда мне кажется, что это Миша... А иногда, что это Сережа...

Степан молча слушал ее.

- Сколько их таких, - задумчиво продолжала она, - мальчиков, девушек, стариков, подымающихся в одиночку. По приказу своей совести.

- Найдем! - горячо сказал Степан. - Мы будем строить, Валя, наше подполье, как строят пороховой погреб, - осторожно и основательно.

И он стал строить подполье, как пороховой погреб.

Появились связи, отряды, явки, люди, цепочка людей, знавших только правого да левого соседа. Степан знал их всех, и земля, казавшаяся ему после ухода наших войск мертвой, задушенной, сейчас ожила, населилась людьми, готовыми к борьбе.

К Степану часто приходили связные от партизан, от

подпольных групп; приходили и с Большой земли, чаще всего девушки.

- И вам не страшно, дивчата? - спрашивал он, искренне удивляясь.

Некоторые обижались. Другие задорно отвечали:

- А чего же бояться на своей земле?

Стали действовать отряды Максима. Запылали немецкие казармы, полетели под откос поезда. Тихие ночи озарялись пламенем малых, но жестоких битв в тылу.

Немцы ответили виселицами. Где-то ждала виселица и Степана. О нем уже знали. Его искали. Но он не думал теперь о смерти. Он снова чувствовал себя хозяином на своей земле.

Да, он здесь был хозяином, а не бургомистры и гаулейтеры. Ему вручили свою душу люди, его приказов слушались, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожаком, а чаще всего приказчиком народной души. Душеприказчиком. Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверили свои надежды. Качающиеся на виселицах товарищи поручили ему месть за них.

У него было теперь большое "хозяйство", куда более сложное и богатое, чем раньше; все это хозяйство надо было держать в памяти, ничего не доверяя бумаге. Он должен был помнить имена и адреса, даты и сроки, поступки и планы, черты лиц и свойства характеров, выражение глаз каждого человека в минуту опасности. Он должен был знать, кому можно верить целиком, кому наполовину, кому нельзя совсем. Кого надо ободрить, кого отругать, кого обнадежить, с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как Иуду.

На дорогах своих скитаний, - а бродил он все время, то один, то с Валей, - ему встречались тысячи людей. У случайных костров люди говорят откровенно. Он прислушивался.

Старики тосковали по оружию. Молодые парни, бежавшие от невольничьего плена, открыто спрашивали путь к партизанам. Он присматривался к ним. Одним отвечал, пожимая плечами:

- Та хто его знает! Як бы я знав, той сам бы пишов...

Других отводил в сторону, давал безобидный адресок - первое и простое звено длинной цепочки.

Потом он узнавал в отрядах своих крестников.

- Ну, как? - спрашивал он.

- Та ничего! Воюем! - браво отвечали хлопцы.

Ночи в партизанском отряде были для Степана и счастьем и отдыхом. Здесь он был у своих. Здесь, на малой советской земле, или - как у шахтеров - даже под землей, в забытой шахте, он чувствовал себя легко и привольно. Можно было спину разогнуть.

Можно было маску скинуть. Можно было вольно засмеяться, назвать человека дорогим именем "товарищ".

Но засиживаться здесь ему было нельзя. Его ждала стонущая, мятущаяся земля, - без него она сиротела.

- Может, на дело меня возьмете? - упрашивал он командира партизанского отряда. - Что ж это я? И моста не взорвал, и гранаты не кинул. Придут наши, и похвалиться нечем.

- Иди, иди! - добродушно ворчал в ответ командир отряда бурильщик Прохор. - Иди, свое дело делай. Без тебя тут управимся. Ты свои гранаты кидай!

Он шел и кидал свои гранаты - листовки, начиненные страшной взрывчатой силой - правдой. Их читали жадно, как дышат в подземелье, - лихорадочными глотками. Кто прочел - рассказывал соседям, а кто прочесть не успел рассказывал свое, о чем самому мечталось. Как осколки гранаты, разлетались по всей земле обрывки фактов, лозунгов, идей, но и они поражали самого страшного врага закабаленного народа - безверие.

- Про листовку слышал? Ага! Значит, жива наша правда, не потоптана! Значит, есть где-то люди! Значит, есть у них с кем-то связь! Значит, и армия наша стоит нерушимая, скоро придет на выручку.

Случалось и Степану во время скитаний читать свои листовки. Он читал их так, словно впервые видел, - жадно, как все. Наклеенная на заборе листовка вызывала и в нем новый прилив веры. И он искал в ней между строк, им же самим написанных, новые факты.

Смерти он не боялся. Он и не думал о ней теперь, будто ее и не было вовсе, будто люди ее, как и бога, выдумали себе на страх. Он не боялся, что его узнают на большой дороге. В седом, бородатом, рваном мужике теперь не узнать Степана Яценко. Могут выдать? Ну что ж. Значит, плохо подобрал людей, плохо воспитал, виноватить некого.

Он теперь редко бывал у себя в штаб-квартире, жил на большой дороге, на людях, среди тачечников и бродяг, внезапно появлялся на шахтах и в поселках и так же внезапно исчезал. Иногда верным людям он назначал встречи на дороге и на свидание всегда приходил в срок.

- А мы полицмейстера убили, - докладывал ему молодой кучерявый паренек, чем-то очень похожий на Васю Пчелинцева.

- Убили? Ну, молодцы, молодцы!

- Нам бы теперь, дядя Степан, - захлебываясь от восторга, говорил парень, - нам бы с партизанами связаться. Такой можно налет произвести!..

- Это подумать надо, - отвечал, почесывая щеку, Степан. - Так

полицмейстера убили?

- Убили. Наповал.

- Хорошо, хорошо. Теперь, Василек, тебе придется идти служить в полицию.

- Мне? - бледнел паренек и растерянно улыбался. - Вы это шутите?

- Нет, Василек, не шучу. Серьезно, - отвечал он и нежно глядел на юношу.

- Так меня... меня же все затюкают. Меня и отец проклянет!

- А это стерпеть придется.

- А наши придут, что ж я им скажу? - чуть не плача, говорил юноша. Все партизаны, а я - полицейский...

- А это я на себя возьму.

- Так ведь, дядя Степан... - сдавленным шепотом продолжал Вася, - ведь убьют!

- А смерти, Вася, нет. Ее выдумали. Есть капут для трусов и бессмертие для героев, середины нету. - Он обнимал за плечи Васю, привлекал к себе. Жаль мне тебя, Василек, - тихо говорил он, - жаль! А идти в полицию надо, больше некому идти. Ты десятилетку кончил, по-немецки немного знаешь. Надо идти. Надо!

И Василек шел служить в полицию. Теперь у Степана везде были свои люди; они сообщали о немецких планах, выручали подпольщиков, помогали партизанам.

Пожилой слесарь докладывал Степану о депо. Сидели тут же у дороги, в стороне от поселка.

- Пустил немец депо! - огорченно вздыхал слесарь. - Вот ведь как!

- Да... неудачно это...

- Теперь мастеров ищет. Паровозы пришли, целое кладбище. А мастеров нет.

- Да...

- Ну, наши мастера не пойдут. Мы им так и сказали, и молодым и старикам: если которая сука пойдет работать в депо - ну, проклянем без снисхождения!

- И не идут?

- Не идут! - радостно-удивленно восклицал слесарь. - Скажика, а? Ни один человек!

- Хорошо! Очень хорошо, - потирал Степан щеку. - А ты, Антон Петрович, пойдешь!

- Я? - растерянно улыбался слесарь. - Нет, зачем же? Обижаете... И я не пойду...

- Нет, пойдешь! На работу станешь. И паровозы возьмешься чинить. А готовые будешь калечить.

- Понимаю... - бледнея, отвечал слесарь. - Понимаю я. Воля твоя, товарищ Степан, пойду. Убьют меня мастера за это дело, а пойду. Понимаю.

И никто из людей, которыми двигал Степан, не спрашивал ни его, ни себя, по какому праву распоряжается ими этот бородатый, похожий на бродягу человек. Они знали, кто стоит за ним. Родина? Нет, родина стояла за всеми. Но только за ним стояла партия. Партия вручила ему власть над их душой.

Представляя людям Степана, председатель подпольной сходки говорил: "Этот человек пришел к нам от партии", - и все подымали глаза на Степана. Этот человек пришел к ним от партии. Он, как посланец партии, шел по этой вздыбленной, набухшей гневом земле, - ему верили.

- Куда ты теперь идешь, Степан? - спросил Тарас сына.

Костер погас, только одна головешка все тлела, покрылась синеватым пеплом и, как глазок, выглядывала из золы. Завернувшись в мокрый плащ и съежившись, спал Петр Петрович. Парикмахер ворочался во сне и стонал.

- Иду Вале навстречу, - ответил Степан, и на его лице, как и всегда, когда он думал о жене, появилась теплая, светлая улыбка.

Он расстался с ней семь дней назад, там, у самой линии фронта. "Ну, иди!" - сказал он просто. Они всегда теперь так прощались. Только эти два слова вслед тому, кто уходил, - в них было все.

Припав к земле, Степан смотрел, как пробиралась Валя колючим кустарником. Вон там, за этим перелеском, - Большая земля, наши. Он следил за темным силуэтом жены с тревогой и... завистью. Сейчас Валя пройдет этот кустарник, потом овражек, опять кусты, и... наши. Хоть бы увидеть разок? Но он знает: ему нельзя. Это дезертирство. И то уж нехорошо, что пошел провожать Валю до этих кустов. Его место не здесь. Его место там, на опаленной горем и гневом земле, в прифронтовых селах.

- Ну, сынок, - сказал Тарас, - что же дальше будет?

- Дальше? - засмеялся Степан. - Дальше наши придут. Скоро.

Но Тарас вдруг рассердился на него.

- Я тебя не об этом спросил! Это я и без тебя знаю! И ты меня не учи! закричал он. - Ты еще молод меня вере учить. Я тебя сам поучить могу, как свою душу в чистоте соблюдать. Я тебя про другое спрашиваю. С чем мы наших встретим?

- Как с чем?

- Они к нам через кровь идут. А мы с чем выйдем?

У Степана вдруг радостно защемило в горле. "Что за отец у меня! Что за старик!" Он с любовной гордостью посмотрел на отца и почувствовал себя его сыном и услышал, как глубоко-

глубоко в этой земле шумят корни его рода.

- Хорошего мы с тобой рода, отец! - весело засмеялся он. - Казацкого!

Старик удивленно посмотрел на сына.

- Мы не казацкого, с чего ты взял? Не казацкого - рабочего. И прадед твой рабочий был, и дед, и дядья. Вся фамилия наша - рабочая.

Но Степан весело обнял его за плечи:

- Казацкого, казацкого! Ты не спорь, отец! - Он наклонился совсем близко к нему и сказал уже серьезно: - Я скажу тебе, что делать, отец. Домой иди! По дороге по моим адресам зайдешь, снесешь поручения. А придешь домой поклонись матери, поцелуй Леньку, а Насте скажи, что приказал я тебя вести к верным людям. Настя сведет.

- Настя? - сердито воскликнул старик.

- Да, Настя, - усмехнулся Степан.

Тарас разгладил усы.

- Хорошо, - сказал он. - Только сперва я ее выпорю. Можно? А потом уж, ладно, скажу: веди, мол, меня, старика, куда надо, Настя!

8

К Насте, запыхавшись, прибежала ее школьная подруга Зинаида.

- Ой, Настя! - закричала она с порога. - Павлик пришел!

Настя почувствовала вдруг, как сердце в ней оборвалось и покатилось... покатилось... Но она даже с места не встала и спросила спокойно, почти равнодушно:

- Павлик? Где же он?

Подруга смотрела на нее с жадным и откровенным любопытством. "Ой, Настька!" - все время вскрикивала она. Равнодушие Насти ее озадачило и даже обидело почему-то.

- Ох, бесчувственная ты, Настька! - сказала она, жеманно поджимая губы. - Тебя никто не будет любить. Я Павлика на улице встретила, прибавила она нарочито небрежно. - Могла и не встретить. Подумаешь! - Но не выдержала тона и закричала с восторгом: - Ой! Настька! Он тебе записку прислал.

- Дай.

Настя взяла записку и почувствовала, что щеки у нее пылают. "Настя! Буду ждать тебя в пять часов возле школы. Ты сама знаешь где. Павел".

- Какой он... стал? - тихо спросила она.

- Ой, Настя, черный весь! Страшный.

Настя попыталась представить себе страшного Павлика - и не смогла. Он вспоминался ей синеглазым, холеным юношей с

румянцем во всю щеку. За этот нежный, девичий румянец да за постыдную для мужчин, по мнению десятого класса "Б", страсть к поэзии мальчишки прозвали его "барышней". Его никто не звал Павлом, все Павликом - и родные, и товарищи, и учителя.

Было без десяти пять, когда она подошла к школе. Павлика еще не было. Настя нашла окна своего класса и через разбитое стекло заглянула туда. На нее пахнуло холодом и сыростью пустого, заброшенного здания. У стены черной грудой вздыбились переломанные парты. И ее парта там. Ее и Павлика. Их парусная лодка, на которой плыли они вместе в жизнь. Это было в стихах Павлика. Парусом он называл мечту.

Настя долго простояла у окна. Было грустно и одиноко, как всегда бывает у развалин родного дома, где ты прожил свою жизнь, - большую или малую, все равно. Наконец она оторвалась от окна и пошла вдоль фасада школы. У парадного подъезда стоял скелет из школьного музея и скалил на Настю зубы. "Кто ж его вытащил сюда? - удивилась Настя. - Должно быть, немцы... Зачем?" Она пошла вдоль забора школьного сада. Деревья стояли голые, черные, заплаканные, как вдовы. Мокрый осенний ветер качал их. Простонав, они медленно валились набок. Вот одно упало, вот второе... Настя испуганно, ничего не понимая, заглянула через забор и увидела: немецкие солдаты, сняв куртки, рубили школьный сад.

- Настя! - вдруг услышала она тихое восклицание за спиной.

Она обернулась. К ней протягивал руки Павлик.

Она взглянула на него и отшатнулась. Боже ты мой, что они с ним сделали! Павлик был худой, черный, оборванный. "Где же твои синие веселые глаза, Павлик?" - чуть не закричала она. От него пахло потом и горькой махоркой.

Он восхищенно глядел на нее.

- Вот ты какая стала! - растерянно пробормотал он и почтительно опустил руки.

- А ты... вот ты какой!

Он только сейчас заметил ужас в ее глазах и опустил голову.

- Какой? - спросил он, глядя в землю. - Страшный?

- Д-да-а... страшный. Черный весь.

Он засмеялся отрывисто и горько.

- Это хорошо, что страшный, - улыбаясь, сказала она и положила ему руки на плечи. - Страшный - значит, честный.

- Да, - горячо ответил он и жадно схватил ее руки. - Я перед тобой чистый и честный, Настя.

- А перед всеми? - осторожно спросила она.

- И перед всеми.

Она радостно засмеялась.

- А я? Страшная я?

- Ты? - восхищенно воскликнул он. - Ты стала большая... Красивая...

- Но я тоже... честная, - прошептала она, опуская глаза.

- Перед всеми?

- И перед тобой тоже.

Он тихо, благодарно сжал ее руку в своей. Теперь они стояли молча, не глядя друг на друга.

С тяжким стоном упало дерево в саду.

- Что это? - вздрогнул Павлик.

- Немцы сад рубят... - ответила Настя.

Ее лицо вдруг покрылось краской. Он покраснел тоже.

- Наш сад? - прошептал он. - Помнишь?

- Помню, - чуть слышно ответила она. Он не услышал ответа, а почувствовал его по губам, как тот первый и единственный поцелуй в саду.

- Там еще дерево было... - задыхаясь, сказал он. - Помнишь?

- Помню.

- Я вырезал на нем буквы: П. и Н.

- И сердце.

- Помнишь?

- Помню.

Опять завизжала пила, зло, исступленно...

- Вот они сейчас по этому сердцу... пилой... - нервно сказал Павлик. Черт! Не могу я этот звук слышать! Пойдем, Настя!

Они пошли дальше вдоль забора и остановились у большого камня под липой. Это было место их давних встреч, с восьмого класса. Настя села на камень, Павлик опустился подле нее на желтую траву. Оба молчали. Чуть слышно, точно комариный звон, доносилось сюда пение пилы. Настя смотрела прямо перед собой в пустырь. Она все хотела спросить, где был Павлик, что делал, но что-то мешало ей спросить, она и не знала - что.

- Ну, а где наши?.. Весь десятый "Б"? - спросил Павлик.

- Кто где...

- Да... Разбрелись, рассеялись. Где Федор? Помнишь, он все мечтал конструктором стать? Изобрести вечный двигатель. Смешной Федор!

- Он в армии. Вестей от него нет. Может, и убит.

- Счастливый!

- Что убит - счастливый? - усмехнулась Настя.

- Нет, что он там - счастливый. А если и убит, все счастливее нас. Мы все равно подохнем... пропадем, как бурьян...

Настя ничего не ответила.

- Ну, а подружки твои где? Маруся?

- В тюрьме...

- Галя?

- В Германии...

- Лиза?

- Она теперь Луиза.

- Немцам продалась? - усмехнулся Павлик.

- Нет. Теперь она с итальянцами.

- Стерва!

Теперь где-то близко от них застучали топоры и с шумом упало дерево. Забор задрожал. На ребят посыпались мокрые листья и щепки.

- Рубят! Рубят! - нервно сказал Павлик. - Все поколение наше рубят под корень...

- Не вырубят, - тихо сказала она.

- Может быть, - зло пожал он плечами. - Но искалечат - все, - он встал и стряхнул с брюк листья. - Пойдем походим?

Они пошли через пустырь.

- Ты, Павлик, горький стал... злой... - сказала она тревожно и вдруг спросила, замедляя шаг. - Где же ты был, Павлик, что делал?

Он усмехнулся и остановился.

- Это большой рассказ, Настенька, - сказал он, качая головой. - И я тебе его рассказывал много-много раз...

- Мне? - удивилась она.

- Да. Мысленно, - засмеялся он. - Шел сюда и всю дорогу рассказывал, рассказывал тебе... А пришел - и не знаю, с чего начать.

- С заметки в газете, - тихо, не глядя на него, сказала она.

Он вздрогнул.

- Ты читала?

- Да.

- И прокляла?

- Нет. Пожалела...

Он страдальчески сморщил мальчишеские брови.

- Это не надо... Это зачем? Жалеть не надо было. Это мне обидно. Надо было понять.

- А как же это понять? - сказала она чуть слышно. - Я пыталась...

- Понимаешь? - горячо сказал он и схватил ее руку. - Понимаешь, все случилось как в дурном сне... толчками... Вот были наши... вот их нет... и вот - немцы... Я растерялся... Я ничего не успел сообразить. Что делать с собой, как жить? И вдруг - повестка... Так неожиданно... Вызывают в редакцию их газеты. Но почему меня? Я потом узнал от сотрудников, что вызвали всех,

кто работал в "Большевистской правде". Но ведь я не работал там... Я только печатал там иногда стихи. Помнишь?

Она кивнула головой и покраснела. Она вспомнила стихи о школе и парусе. Они были посвящены ей. В газете так и стояло: "Посвящается Н.". Только одна буква, но в десятом "Б" все отгадали сразу. Настя рассердилась на Павлика. Они не разговаривали тогда три дня.

- Это Иверский, хромой черт, меня впутал! - продолжал Павлик. Бездарный поэт... Понимаешь, такая бездарная сволочь!.. А у немцев он стал главной фигурой редакции. Он-то и впутал нас всех. Он и список составил. Ну вот. Что было делать мне? Что было делать?

Он умоляюще посмотрел на Настю. Настя молчала.

- Да... - сказал он задумчиво. - Надо было не идти. Но, понимаешь, я так растерялся... И мать, - он горько усмехнулся, - мать вцепилась в меня, плачет: иди и иди, убьют! Ну и... я пошел. Пошел, чтоб отказаться, объяснить, что тут ошибка, что я не газетный работник... Но меня никто и слушать не захотел. В редакции сидел офицер из гестапо. Все ходили на цыпочках. Иверский ткнул мне заметку и сказал: "Обработайте!" Ну я и... обработал. Безобидная заметка, пустая... Пять строк. И подписывать такие не принято, а Иверский взял и нарочно подписал мое имя и фамилию полностью. Когда я увидел это в газете, - сказал он, кусая губы, - я сразу же подумал о тебе, Настя...

Павлик опустил голову, стараясь подавить слезы. Настя молчала.

- Так меня заклеймили, - продолжал он, проглотив комок, - и Иверский сказал мне, что теперь я должен написать стихи - оду на приход немцев в наш город. Я ответил, что не умею писать од. Он приказал: "Попробуйте!" Я сказал, что быстро вообще не умею писать. Он дал мне три дня сроку и отпустил домой. И вот я остался один на один с собой... дома... Я метался эти дни, Настя, метался так, что передать тебе этого не могу. К бумаге я не прикоснулся. Я знал, что таких стихов я написать не смогу. Вот я весь перед тобой, Настя, - сказал он, глянув ей в лицо в первый раз за все время своего рассказа. - Я все говорю, что было, хоть и горько это мне... заметку, еще одну заметку я бы, может, и написал... но стихи! Стихи! Они ведь сердцем пишутся, ты знаешь!

- Ну? - тихо спросила Настя.

- И тогда я решился бежать. Прочь из города. И убежал.

- Я знаю... а то бы я не пришла...

- Да? - усмехнулся он. - Я так и думал...

- Тебя искали...

- Да... Мать рассказывала мне... Ну вот. Я решил пробираться к нашим. Но у Дона меня схватили немцы, избили и швырнули в вагон. А потом повезли. Куда - не знал я. Может, в лагеря. Может, в Германию. Только далеко за Днепром я сбежал из эшелона и остался один на чужой земле...

Он провел рукою по лбу.

Настя молчала.

- Неизвестные для меня места! - продолжал Павлик. - Тут давно уж и войны нет. И немцы в городах как у себя дома. В Киеве по улицам кадетики бегают. Народ замучен, забит. Я шел через все это как сквозь ночь и думал: а мне куда же идти, что делать? Кто я такой, Павел Бажанов?

- Как кто такой? - сказала Настя. - Ты комсомолец.

- Да? - усмехнулся он и грустно покачал головой. - Это еще неизвестно...

Она удивленно взглянула на него.

- А ты думала когда-нибудь, Настя, почему, почему ты, я, наши ребята из десятого "Б" - комсомольцы? Думала? И я нет. А тут задумался. И сильно.

- Не понимаю я... - мучительно вздохнула Настя.

- А ты спроси себя: "Почему я комсомолка?" Ведь и ты, и я, и все просто так вошли в комсомол, без мучений, поисков, выбора, а многие и без раздумья.

- Нужно... мучиться?

- Нужно! - убежденно сказал он. - Человек проходит сквозь муку, как сталь сквозь огонь, и тогда становится человеком. А мы сначала надели красные галстуки, потом комсомольские значки. Очень просто. И стали мечтать о жизни. И так мы о ней сыто мечтали, что даже вспомнить стыдно. А тут, грубо перебил он сам себя, - тут волчья жизнь встала передо мной. А я один. Никого нет. Понимаешь?

- Это я понимаю... - прошептала Настя.

- Мы все остались одни, каждый наедине со своей совестью. И каждый сам за себя должен был свой путь в жизни выбрать.

- Каждый думает, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу, - пробормотала она.

- Что?

- Это мой отец так говорит.

- Душа! - засмеялся он. - У нас в десятом "Б" о ней и не вспоминали. Я и не знал, есть ли она у меня, душа-то, или нет - пар... А как засочилась она кровью - тут я ее и услышал.

- Что ж услышал?

Он не ответил. Он стоял, вытянув шею, и прислушивался к

чему-то.

- Опять пила? - спросил он неуверенно. - Или мне кажется?

- Тебе показалось...

- Да! - Он нервно и смущенно усмехнулся. - Теперь будет пила! А там за Днепром мне все шаги чудились... Все казалось мне: у меня за спиной шаги... Да, так о чем же я? - сморщил он лоб.

- Ты постарел, Павлик! - вдруг заметила она. - Ты теперь старый-старый...

- Да, восемнадцать лет.

- Больше! Тебе больше.

- Да, больше, - согласился он. - Семнадцать с половиной лет и полгода под немцем. Да, так о чем же я? Да! Остался один. Один, наедине со своей душой. - Он усмехнулся. - Один! А я никогда раньше не был один. В кино мы и то ходили коллективно, помнишь?

- Помню.

- А тут я - один, и много дорог передо мною. Да не дорог - пусть тропинок, тем выбирать трудней. И я должен был сам выбрать.

- Выбрать? - спросила она.

- Да, выбрать. А что?

- Ничего... Ты говори...

- Видишь, там за Днепром, журналы выходят. По-русски и по-украински. Брошюры. Газеты. В них расписывается всеми колерами райская жизнь в Германии. Германия называется Европой, а вы, мол, русские, - азиаты, и вы Европы не видели и не знаете. И не смеете судить. И каждый день в этих газетах оплевывалось самое святое, что было у нас с тобой... И я читал... Понимаешь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

- Я все читал. Одно за другим. Я глотал это, как яд, и говорил: попробуй, отрави мою душу! Ну? И, проглотив, отбрасывал прочь. Не яд рвотное. Тошнит, - он сплюнул. - Но были и другие брошюрки. Похитрей. Они были написаны... как бы тебе объяснить?.. Шепотком. Понимаешь? Вкрадчивым таким шепотком, в самое ухо... Они и о социализме шептали. Очень туманно, чуть слышно, но все-таки! И больше всего о культуре. Заманчивое слово! Да? Или об украинской нации. Или о миссии молодежи. И в этих брошюрах нашему брату, русскому молодому человеку, даже льстили. И это я читал. И над этим сам один думал... Я не поседел? - вдруг спросил он.

- Нет... Не видно...

- И мать говорит: "Нет! Это у тебя волосы выгорели". Но

заплакала все-таки... Да, так о журналах... Еще были журналы литературные. Там можно было тиснуть стихи и не на политическую тему. А так, ни о чем... Понимаешь?

- Нет, - сказала Настя.

Он засмеялся.

- И я не понимаю. Но, говорят, можно. Ну, о синем небе, о голубых глазах. Ни о чем. Некоторые писали. И кушали. А я голодал. Зверски голодал я, Настя, и рассказать даже трудно, как! Картофельная шелуха была для меня пиром. А помойки... Знаешь, Настя, я теперь уважаю помойки. Чрево Парижа! А со стен мне кричали плакаты: "Молодой человек! Тебя ждет Германия!" А петлюровские клубы распахивали двери: "Молодой человек! Иди веселись, танцуй и забудь, что у тебя душа в крови!" А желудок урчал: "Пиши стихи в журналы, ну хоть ни о чем, и кушай!"

- А душа? - тихо спросила Настя.

- Что душа?

- А душа что говорила тебе?

- О душе потом. Я хочу только сказать, что надо было выбирать. И я выбирал. Я, как вожжи, взял в руки все эти дороги, дорожки, тропинки - стал разбирать. Куда мне коня моего дернуть. И вдруг оказалось, что дорог всего две. Тропинок, тупичков много, а дорог, Настя, только две. И я, - сказал он тихо, - я выбрал.

- Что же ты выбрал, Павлик? - чуть слышно спросила она.

- Я скажу... Но сперва ты вспомни: я был один. И вокруг меня волчья жизнь. И зверски голодал я. И душа и морда в крови. И шаги за спиною. И все, что я считал святым, оплевывалось каждый день. И где-то далеко-далеко Красная Армия, и даже неизвестно, есть ли она еще или нет... И я выбрал, сказал он, не глядя на Настю, тихо и проникновенно: - большевизм, Россию, комсомол.

Настя вдруг радостно и облегченно вздохнула.

- Павлик! - закричала она. - До чего же ты подлый, Павлик! Можно ли так рассказывать? Я бог знает что уж думала о тебе.

- Только я теперь, - торопливо сказал он, - не такой комсомолец, каким раньше был. Я теперь такой комсомолец, который за свои убеждения умереть не побоится. Ты понимаешь, да?

- Да.

- И если бы теперь меня пригласили повесткой в их редакцию, усмехнулся он, - я бы знал, что делать.

Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза.

- Вот тебе, Настя, и вся повесть о моих скитаниях. А ты? Теперь ты расскажи. Чем ты мучилась, как ты выбирала, искала?

- А мне и рассказать нечего, - усмехнулась она. - Где мне о таком думать! Это ты у нас в классе был самым умным, еще тебя девочки философом дразнили. А я обыкновенная девушка. Я просто живу как совесть велит.

- Совесть! Хорошее слово, - сказал он, усмехаясь. - Жаль, нам редко говорили его.

- А зачем его говорить? Совесть надо иметь, а говорить о ней не надо...

Он посмотрел на нее нежно, внимательно.

- А ты тоже стала старше, Настя, - сказал он.

- Старая!

- Нет. Но ты все была девочка. А сейчас девочек нет...

- Да, нету...

- Я тебе много нежных слов нес, Настенька! - тихо проговорил он. Сколько есть в языке - столько нес, да еще много сам выдумал.

- Не надо! - испуганно сказала она.

- Я их так бережно нес, чтоб не пролить, не обронить на дороге.

- Не надо! - снова попросила она и закрыла лицо руками.

- Не надо? - грустно усмехнулся он. - Хорошо, я не буду. - И он покорно опустил руки.

- Сейчас о своем счастье не надо думать... - прошептала она. - Стыдно.

- А о любви?

- И о любви... Не надо. Я и так знаю.

- А я?

- И ты знаешь.

- Настя! - рванулся он к ней.

- Не надо! - строго остановила она. - Сейчас не надо. Потом.

- Потом? - горько засмеялся он. - Да будет ли оно для нас, это "потом".

- Будет! Будет, Павлик!

- Хорошо! - сказал он обиженно. - Я не буду. Я ведь только потому и хотел сказать тебе о... любви, что эта встреча у нас: здравствуй и прощай. Ухожу я.

- Уходишь?

- Да. Завтра.

Она ничего не спросила, только сердце вдруг защемило...

- Я к нашим решил пробираться, Настя, - тихо сказал он. - Мне восемнадцать, я уж могу драться.

Сияя гордостью, он посмотрел на нее и спросил:

- Правильно?

- Да-да, - нерешительно ответила она. - Правильно... Так легче.

- Легче? - удивился он. Он не такого ждал ответа.

- Да, легче. Там дерутся в открытую, а если умирают - так среди своих.

Он рассердился:

- А как же иначе? Иначе как?

- Как мы деремся, - коротко ответила Настя.

- Кто - вы?

- Подпольщики, - тихо прошептала она.

Он удивленно посмотрел на нее.

- А подполье есть? Есть? - спросил он шепотом.

- Есть, - пожала она плечами и, посмотрев на него, покачала головой. А ты, Павлик, всю Украину прошел и ни партизан, ни подпольщиков не встретил?

Он опустил голову.

- Я ведь рассказывал тебе, - сказал он, оправдываясь. - Я искал, мучился, выбирал...

- А они дрались и умирали, - тихо докончила Настя. И вздохнула. - Эх, Павлик!

Он молчал, не подымая головы.

Потом он спросил осторожно и тихо, все так же не глядя на Настю:

- А мне к вам... можно?

Она радостно улыбнулась.

- Конечно, Павлик.

- Ты веришь мне?

- Как же не верить, - просто ответила она. - Ведь я же тебе сказала: люблю...

9

Тарас возвращался в родной город... Он торопился. Три месяца не был он дома и вестей оттуда не имел. Живы ли еще домашние, целы ли?

Где-то в пути и новый, сорок третий год встретил. Заря занималась алая, кровавая... "Кровавый будет год! - покачал головой Тарас. - Кровью покорены, кровью и освободимся".

Трудны теперь стали дороги, которыми он шел. Настоящего снега все не было, и осенняя грязь застыла мерзлыми кочками, идти было тяжело. Хорошо, что захватил с собой для обмена меховой пиджак: обменять не пришлось, зато самому пригодился.

Тарас торопился. Тащил он семье мешок зерна да немного картошки - все, что сумел добыть в разоренных селах. Но главное, нес радостные вести домой. Может быть, знают они, а может, и не знают. Закупоренно живут... Вот он и расскажет им, торжественно и неторопливо, что у немцев под Сталинградом неустойка вышла. И есть слух: ударили наши на Дону. Крепко ударили.

Он узнал об этом от людей на большой дороге, здесь вести разносятся быстро. Подтвердили и те, к кому зашел он по Степановым адресам. Да и у самого Тараса глаза есть. Большая дорога - как открытая карта, ее только надо уметь читать. "Ишь заметались немцы, забегали!.." - злорадно примечал Тарас.

Как-то ночуя в селе, услышал он голоса и суету на дворе. Встал, вышел. Весь двор был полон полицейскими. Они суетились и галдели подле брички, и Тарас догадался: удирают. Он прислушался. "Господа, господа! - надрывался один. - Надо начальника подождать. Он прикажет". - "Да чего там! - кричал другой. - Нет, господа, поехали". - "Да нельзя же, господа!" Только и слышно было на все лады: "Господа! Господа!" Тарас не выдержал и расхохотался.

- Господа-то господа! - сказал он, лукаво прищуриваясь. - А товарищи... догоняют! А?

Эту весть он и нес домой, как самое дорогое: наши погнали немцев.

Вот придет он домой, соберет своих и скажет: "Поздравляю вас, семья моя! Идут наши!" И посмотрит на Андрея. Обязательно посмотрит. Ничего не скажет, а посмотрит. Пусть опустит голову сын.

А потом призовет к себе Настю. Сперва выпорет... Ну, это так, для слова сказано. Пороть он, конечно, не будет, а отругать - отругает. "От отца, скажет он ей, - ничего нельзя таить: ни жениха, ни дела". А отругав, скажет строго: "Приказал тебе, Настя, славный наш партейный секретарь, а мой сын, а тебе он - брат, Степан Яценко, беспрекословно приказал тебе свести и меня к верным людям, о которых тебе известно. Ну, веди!"

А уж потом обойдет стариков. Всех, кто жив еще, кто еще дышит. С каждым поговорит отдельно, осторожно, как Степан учил. Но слова каждому скажет свои.

Скажет: "В одиночку-то мы все честные... Только честность свою в сундуке хороним, как невеста приданое. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!"

Но вот и город уже недалеко... Его еще не видно, он скрыт туманом, но сердце уж чует его, торопит... Вот и трубы заводские показались.

Тарас остановился и снял шапку.

Многотрубный город - как большой корабль. Трубы, трубы, трубы... Сейчас они мертвы, и дым не волнуется ни над одной, а бывало Тарас различал каждый дымок, знал каждый гудок по голосу...

- Доживу! - сказал он, сжимая кулак. - Доживу! Задымят, как прежде. Ничего. Доживу!

И он толкнул свою тачку вперед.

Расступились перед Тарасом окраины, побежали вниз, к центру, улицы. Каждый камень здесь знаком Тарасу. Каждая крыша. Он растроганно глядел на знакомые улицы.

- Все как было! - обрадованно улыбнулся он. - Все как было. Как не может чужеземец душу нашу переменить, так не может он и города наши и обычаи наши переделать на свое. Все как было...

И только этого не было - виселицы. Тарас невольно остановился.

Много виселиц было на его пути, мог бы и привыкнуть. Но к виселице привыкнуть нельзя.

На этой виселице висела девушка. Тоненькая, худенькая, словно подросток. Девичья головка ее беспомощно свесилась на плечо и застыла.

Тарас шагнул ближе, всмотрелся и вдруг закричал так страшно, что камни мостовой должны были б задрожать.

- Настя! - и грохнулся на мостовую без чувств.

...Он очнулся дома в постели, над ним склонилось заплаканное, сморщенное лицо жены.

- Мать! - тихо позвал он. - Что же ты дочку-то? Дочку-то?..

Она припала к его груди и заплакала.

Он провел рукой по ее седым волосам.

- Молчи, мать, молчи! - сказал он чуть слышно. - Насте слез не надо, и разрыдался сам.

Павлик стоял у дверей, опустив голову, - плакать он уже не мог. Это он нашел и привез на тачке Тараса. Он узнал его по страшному крику: "Настя!" Он и сам в первый день кричал так.

А плакать он уже не мог. Два дня простоял он у виселицы, подле Насти. Его никто не гнал, немцам теперь было не до него. Он смотрел в синее лицо Насти, в ее глаза, подернутые тонкой пленкой смерти, казалось ему: Настя с ним разговаривает. Она всегда была молчаливая. Она всегда умела разговаривать молча. "Ты отомстишь за меня, Павлик, правда?" - спрашивала она. "Правда! - шептал он. - Научи, как отомстить за тебя, чтоб ты довольна была!" Она молчала. Только чуть насмешливо кривился ее скорбный рот. Она встретила смерть гордо. Она палачам смеялась в лицо, а Павлику казалось: это она над беспомощностью его смеется. "Только не стихами, Павлик. Стихов не надо!"

- Доченька! Доченька моя! - причитала бабка Евфросинья. - За что ж они тебя, невинную! Не украла, не обидела...

- Молчи, мать, молчи, - тихо шептал Тарас. - Настю не обижай.

- Хоть похоронить бы дали! - плакала Евфросинья. -

Поцеловать глазки ее синие... Обмыть...

- Молчи, мать, молчи! Не такие поминки Насте надо.

- За все отомстят, - тихо сказал Павлик. - Только научите как, чтоб она довольна была.

- Это кто? - спросил Тарас, показывая на Павлика.

- Это Настин товарищ, - сказала Антонина. - Он и привез вас домой.

- Мне моей жизни не жалко, - взволнованно сказал Павлик. - Только что ни подберу, - все для Насти мало. Ведь она такая была... такая...

- За нее сыны мои отомстят! - проговорил Тарас. - Народ отомстит, не забудет! - Он вдруг что-то вспомнил и обвел глазами столпившихся у постели людей, словно кого-то искал. - Где Андрей? - спросил он, хмуря брови. - Что ж его в нашем горе нету?

- Андрей? Андрея нет... - прошептала Антонина и вдруг заплакала.

- А где же он?

- Ушел Андрей... Вскоре после вас и ушел.

- Куда?

- Не сказал. Только приказал: передайте отцу, он обо мне еще услышит.

- Та-ак! - сказал Тарас. - Один я! - Он взглянул на заплаканных женщин. - Что ж вы меня в постель уложили? Мне сейчас лежать нельзя. Пустите.

Он встал и медленно разогнул спину.

- Палку мою дайте... - глухо сказал он. - Мне теперь без палки... будет трудно.

Ему подали палку, и, опираясь на нее, он пошел через всю комнату к Павлику.

- Как тебя зовут? - спросил он, останавливаясь перед ним.

- Павел.

Тарас долго и молча глядел на него. Потом тихо произнес:

- Проведешь меня к верным людям... Насти нет, ты меня поведешь. Ничего. Кровью покорены мы, кровью и помстимся. Ничего. Ничего...

На другой день Тарас пошел к Назару. Он нашел его лежащим в белой рубахе под иконами.

- Ты это что, Назар? - испуганно спросил он.

Сосед медленно повернул к нему лицо.

- А-а, Тарас! - бледно улыбнулся он. - Вовремя! Застал.

Тарас сел у постели и осторожно взглянул на Назара. Был сейчас сосед тих и светел, словно от него отлетело уже все земное и покинули его обычная суетливость и суесловие. Он уже

простился с землей. Дел у него тут не осталось.

- Нехорошо, Назар! - укоризненно покачал головой Тарас. - Плохое ты время выбрал.

- Не я выбирал. Смерть за мной повестку прислала.

- А ты не иди! Не покоряйся!

- Смерть не Гитлер, ей не покоряться нельзя, - кротко возразил Назар и вздохнул. - О твоем горе слышал, сосед. Всех они казнят, супостаты. Кого быстрой мукой казнят, а вот нас - медленной...

- Нельзя тебе помирать, Назар! - снова сказал Тарас. - Я к тебе с делом пришел.

- Я дела кончил, - тихо прошептал Назар. - В том прости меня, сосед.

Они оба замолчали и задумались. "Вот и пожито на земле много, удивленно думал Тарас, - и корни пущены, а смотри - уходит человек с земли легко, будто и не жил. Что ж она, смерть? Что ж ее бояться? Умирать легко, жить, выходит, труднее!"

- В чем грешен я перед тобой, сосед, - с тихой торжественностью произнес Назар, - в чем обидел или оскорбил - прости Христа ради, не осуди!

- Бог простит! - ответил Тарас. - А у меня на тебя, сосед, за сердцем ничего нету.

- В том спасибо!

Они опять помолчали.

- Бог? - сказал Назар. - Перед ним, ежели есть он, у меня грехов много. Налипло, по земле-то шествуя, как к колесам грязи... Ну, в том я ему сам ответ дам. Ежели есть он. А нету - черви не взыщут, простят... - и он перевел дух. - Суетен был, корыстолюбив и злоязычен. Закона не соблюдал, в том пусть баба моя мне простит, и люди... - он опять перевел дух и закончил: - А перед родной землей на мне греха нет.

- Нету, Назар, - сказал Тарас, - это все люди знают.

- Придут наши... Ты им скажи, Тарас.

- Скажу! Скажу!

- Так и скажи: жил Назар Горовой непокоренный и умер не покорясь.

- Скажу, сосед. Это скажу!

- А что гранат я в немцев не кидал, - сказал он тихо, виновато, - в том пусть простят мне... Стар... Да и гранат у меня не было...

Вдруг страшной силы взрыв потряс домик. Задребезжали стекла. Посыпалась штукатурка с потолка.

- И умереть не дадут спокойно, - огорченно вздохнул Назар.

Взрывы следовали теперь один за другим. Домик Назара

скрипел и стонал на все голоса, все доски в нем дрожали...

Вбежал запыхавшийся Ленька и крикнул:

- Ты здесь, дедушка? Немцы город рвут!

- Что такое? - не понял Тарас.

- Взрывают город немцы! - крикнул Ленька. - Уходят!

- Как уходят?

Тарас схватил свою палку и бросился вслед за Ленькой.

- А не давать им уходить! - крикнул он на ходу.

Он побежал по улице, барабаня палкой в ставни и крича:

- Эй, выходи, народ! Эй, немцы уходят! Не дадим же им уйти! Эй, выходи, мужчины!

Подле него уже собирались люди.

- Та нехай уходят! - крикнул кто-то из толпы. - Мы ж их не звали! Ну и черт с ними, и слава богу!

- Чего ты хочешь, Тарас?

- Не дадим уйти фашистам! - кричал он. - Перебьем их тут!

- Без нас перебьют, Тарас!.. Мы ж не военные люди. Нас это не касается.

- Как не касается? - заревел Тарас. - Как это нас не касается? А кого ж? Немцы целые уйдут - вновь заявятся нас топтать, детей наших вешать. Не дадим им уйти! В землю их! В землю!

Он побежал, размахивая палкой, в город, Ленька рядом с ним. Отовсюду уже бежали рабочие, многие с оружием, бог весть откуда попавшим к ним.

С автоматом в руке и гранатами бежал и Павлик. Пробегая мимо виселицы, он оглянулся на Настю. В сумерках не видно было ее лица, только скорбный силуэт синел в озаренном пламенем пожаров небе, но Павлик знал теперь, что Настя благословляет его на бой и смерть.

- Эх, жаль, ружья нет! - горестно крикнул Тарас на бегу. - Эх, ружья, жаль нету, Ленька!

Они вбежали в центр города, на площадь, еще дымившуюся после взрывов, и сквозь дым и гарь, сквозь тучи кирпичной пыли, сквозь черное пламя, жадно лизавшее камни, увидел Тарас свой город... Дома, вздыбленные в ужасе, скорчившиеся, смертельно раненные, охваченные пожаром, падающие на его глазах грудою черного камня...

Тарас остановился, потрясенный, подавленный новым горем.

- О-о-о-о! - простонал он, хватаясь рукой за сердце.

Что они сделали с городом! Что они сделали, варвары, с сердцем Тараса! Вчера он увидел на виселице синий труп своей девочки, сейчас на костре перед ним корчился его город...

А сквозь дым тайком, как воры, пробирались отступающие гитлеровцы. Их машины сгрудились среди развалин улицы,

наползали одна на другую, в панике бегали механики и солдаты, из кабин высовывались офицеры и грозили кому-то пистолетами...

Тарас увидел их.

- Вот они! - закричал он, показывая на немцев пальцем. - Вот они! Люди, видите их? Бейте ж! Бейте их!

И он поднял над головой свою суковатую стариковскую палку. Был он страшен сейчас, грозен с этой палкой в руках, седой, без шапки, озаренный пламенем горящего города...

- Дедушка! - услышал он голос Леньки. - Вот оружие, дедушка! Бери!

Тарас обернулся на голос. Ленька склонился над чем-то.

- Иди, дедушка, бери!

Тарас побежал и увидел труп немца и оружие при нем.

- Кто его? - хрипло спросил Тарас.

- Кто-то из наших... заводских... Сейчас пробежали тут. Слышь, дедушка, стреляют!

- Ага! - зло захохотал Тарас. - Так, так! Давай и мы, Ленька, как люди! Давай, - он склонился, поднял автомат и гранатную сумку.

- А! - сказал он с досадой. - Жаль, не выучился я, как ее, черта, кидают - гранату...

- Я знаю, дедушка! - торопливо отозвался Ленька. - Дай покажу!

- На, Ленька, кидай! Кидай, внучек! Кидай, прошу я тебя! А я их из автомата.

Ленька размахнулся, зажмурился и швырнул гранату в гущу немецких машин. Раздался взрыв и затем сразу же крики, стоны, беспорядочные выстрелы...

- Кидай, внучек, кидай! Завыли? Кидай, я тебе говорю! - Но тут он почувствовал, что его что-то ударило в бок, обожгло. - О-о-о! - тихо простонал он и повалился наземь...

- Дедушка! - кинулся к нему Ленька.

- Ничего... ничего... ранило... Ты кидай, Ленька! Кидай, прошу я тебя!..

А дома, в Каменном Броде, бледные женщины сидели за запертыми ставнями и при каждом взрыве вздрагивали и крестились.

- Господи, господи! - шептала бабка Евфросинья. - Защити старого и малого, от смерти укрой...

- И Андрея! И Андрея тоже! - просила Антонина. - Где б он ни был, что бы ни делал - спаси, господи, раба твоего Андрея и грехи его прости.

Андрей шел домой.

Он снова шел домой, но теперь не робко, не тропинкой, не в крестьянской свитке, тайком, как беглец, - а широкой дорогой боев и наступлений, в армейской шинели.

Где-то у Богучар добрался он, наконец, до наших войск, он сразу сказал командиру, что хочет опять драться. Он сказал еще, что был в плену и что ему надо искупить свою вину перед отцом и армией и вину эту он сам знает. Он хотел еще прибавить, что не с голыми руками пришел к ним, что, пробиваясь сюда, он и в одиночку и с товарищами не раз нападал на обозы отступающих немцев и бил их, и немало набил. Но, взглянув на суровое, покрытое черной копотью боя лицо командира, ничего не сказал. Что сказать им, стоявшим насмерть под Сталинградом, чем ему перед ними хвастаться? Он был должен сейчас, как они, быть весь в крови и копоти, и чтоб от полушубка пар шел, и на рубахе соль выступала от солдатского труда и пота, и на сапогах снег и грязь всех дорог, от Волги до Дона. Что ж он, чистенький, стоит перед ними, воинами? Ему, беглому солдату, перед ними стыдно.

Андрея долго и строго допрашивали в особом отделе, но не так строго, как он сам много раз допрашивал себя.

Он бы так спросил: "В чем вина твоя, Андрей, перед родиной? - В том вина моя, что я смерти убоялся. - А еще в чем? - А еще в том, что я веру потерял. - Отчего же случилось так, Андрей? - Оттого, что душа у меня была бедная. - А теперь не боишься смерти? - А теперь не боюсь. - Где же ты смертного страха лишился, Андрей? - В рабстве. Рабство горше смерти. - И там же веру нашел? - Нет. Нашел ненависть. Она веры крепче. - Чего ж ты хочешь теперь, Андрей? - Оружия прошу. И места в строю, товарищи. - Зачем тебе оружие, Андрей? Чтоб прощение отца заслужить? - Мне его прощения мало. Чтоб вину свою перед родиной искупить? - Мне и этого мало. Для одного боя хватит. А я к вам на все бои пришел. - Чтоб ненависть свою насытить? - Ее насытить нельзя. Она - смертная. - Зачем же тебе оружие, Андрей? - Чтоб до конца драться! До победы! На меньшем я не помирюсь".

Так его не допрашивали в особом отделе. А может, и спрашивали, но другими словами, и, внимательно поглядев на него - так, словно в душу глянули, - поверили и направили в строй. Тут ему дали оружие. Он взял винтовку. Она была совсем такая же, как и та, брошенная им в кукурузу, когда сдавался немцам, - обыкновенная русская, трехлинейная, с золотистой ложей и граненым штыком. Отчего же раньше была она для Андрея бесполезным дрекольем, а сейчас показалась грозной силой?

Андрея поставили в строй. Но прежде чем повести пополнение в огонь, командир роты вывел новичков на поле вчерашнего боя и сказал:

- Смотрите!..

И они посмотрели...

Черным снегом было покрыто поле, все истоптанное и истерзанное, сладковатый запах пороха еще витал над ним. А повсюду, как дохлые кони, валялись немецкие танки, обгоревшие и исковерканные; немецкие пушки покорно подымали вверх стволы, как пленные подымают руки; скрючившись и окоченев, лежали околевшие враги, грязные рыжие волосы уже примерзли к земле, в раздавленных касках застыл лед.

От всего поля, перепаханного трактором войны, от поверженного в прах вражьего железа, от могучих следов гусениц наших танков исходил густой и терпкий запах победы, и, глотнув его полной грудью, Андрей подумал с завистью: "А меня тут не было!"

Он сейчас завидовал тем неизвестным солдатам - может, землякам, - что прошли здесь вчера со славою, громя немцев на Дону, гоня их на запад.

- Смотрите! - строго сказал командир. - Смотрите, как наши люди бьются! Как русские бьют.

- Что ж! - ответил Андрей, кусая губы. - Дайте и нам подраться.

- Драки просим! Драки! - нетерпеливо закричали новички. Их будоражил вид и запах победного поля, и их кровь зажигалась пламенем победы.

- Будет вам драка! - усмехнувшись, сказал командир.

На заре они пошли в бой. Они влились в великий поток наших войск, наступающих на врага, и Андрею посчастливилось участвовать в том знаменитом зимнем марше от Волги до Днепра, о котором еще будут писать историки.

Они шли на запад... Навстречу попадались длинные, унылые колонны пленных немцев. Немцы шли в зеленых шинелях с оборванными хлястиками, без ремней, уже не солдаты - пленные. И Андрей злорадно усмехался, глядя на них: "Ага! Вот вы, непобедимые, ну-ну!" - и яростнее кидался в огонь. Бывалые бойцы учили его ремеслу воина. Они знали теперь то, чего не знал он и знать не мог, - он был в плену, а они в боях. Бой - лучшая академия. Зато он мог научить их ненависти. Он рассказывал им о городах, стонущих под сапогом врага. Он говорил им:

- Если б знали вы, с какой тоской и верой ждут нас там, вы дрались бы еще злее!

Когда Миллерово было взято дивизией, где служил Андрей, и села окрест очистились от немцев, Андрей показал товарищам:

- Вот здесь был лагерь смерти!

Он стоял, опаленный боем, окрыленный победой, и глядел на этот пустырь. Еще болталась ржавая колючая проволока... Снег лежал на ней... Он глядел на нее и чуял, как снова закипает в нем жажда мести. Ее ничем не утолить. Под напором советских войск один за другим освобождались города, но Андрею всего было мало. Со смертной тоской ждут, может, об Андрее и не думают, - отец проклял, жена не простила. Ждут штыка русского. Но вот штык в Андреевых руках. Ждут его или не ждут - это он несет им свободу. Это он через дым и кровь рвется домой.

Может, живой и не дойдет. Он не боялся смерти. Он не отлеживался от нее. Командиру отделения, сержанту Власову, он сказал в первый же день:

- Если убьют, сообщите родным. Адресок - вот он!

Но он знал: теперь и мертвый он пойдет домой.

Ему повезло. Он дошел живой. Ранним утром - еще темно было и город утонул в сером мраке - ворвался он одним из первых в город. На знакомых, родных улицах докалывал он последних фашистов.

Ему разрешили забежать домой. Он не постучал в окошко, вошел стремительно, рванул дверь.

- Андрей! - закричала Антонина и бросилась к нему.

Он осторожно обнял ее. Он боялся быть нежным. Пламя боя горело на его черных щеках.

- Папка пришел! - радостно завопила Марийка. - Папка наш совсем пришел!

- Не совсем, дочка! - ответил он. - Мне еще далеко идти.

Он обвел семью жадным, нетерпеливым взором, но отца не нашел.

- Где отец? - хрипло спросил он.

- Он у себя лежит. Раненый, - торопливо ответила Антонина.

Андрей вошел к отцу.

Тарас лежал в постели и на Андрея взглянул, как тому показалось, насмешливо.

- А-а, Андрей! - усмехаясь, протянул старик.

Андрей со злостью сорвал что-то с груди и, зажав в кулаке, сказал отцу:

- Здравствуйте, тату! И прощайте! А это, - он швырнул что-то на стол; тускло звякнуло оно, как полтинник, - жив ли буду, или погибну - берегите! и выбежал прочь.

Тарас слабым голосом позвал жену.

- Покажи, что он там кинул!

Бабка Евфросинья подала ему медаль.

- "За отвагу", - прочел Тарас и опять усмехнулся. - Убежал? Гордый черт, моей крови!

Вбежал Ленька, как всегда запыхавшийся, как всегда - с новостью.

- Дедушка! - закричал он. - Наши идут и идут!.. Полный город войск! И танки!

- Эх! - слабым голосом произнес Тарас. - Вот беда, не могу я встать! Раненый... А то вывел бы я все свое семейство перед бойцами и самому старшему командиру сказал бы: "Могу тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед родиной чистая..."

- А Насти нет! - прошептала бабка Евфросинья. - И от Никифора сколько месяцев вестей не было.

Никифор, младший сын Тараса, еще осенью был ранен под Сталинградом. Его увезли в госпиталь, за Волгу. Врач, оперировавший его, сказал:

- Жить вы будете, а воевать уж нет - не придется.

Никифор заскучал и спросил врача:

- А что ж я теперь делать буду?

- Что до войны делали?

- Рабочий я. Металлист. Монтажник, - ответил Никифор. - Домны я строил, например...

- Ну, и очень хорошо! - обрадовался врач. - Будете домны строить!

Рядом с Никифором в палате лежало много бойцов. Соседом по койке был примечательный человек, сержант Алексей Куликов, родом пензенский.

- Я, брат, - сказал он Никифору, - в среднем ремонте не первый раз. Починят - и опять пойду. На мне рана заживает быстро.

И действительно, поразительно быстро заживали его раны, даже врачи удивлялись. А Куликов усмехался:

- У нас, у Куликовых, шкура крепкая, к лечению способная. Деды без дохтуров жили, сами раны заживляли. А у меня какие раны? Так, ранения!..

Никифору все было неловко, что с ним здесь так нянчатся. Соскребли с него окопную грязь, отмыли, отбелили и положили в чистые простыни, тихого и просветленного. Никогда и никто так не заботился о его теле. Это тело любила мать и, бывало, ласкали бабы, и сам он двадцать семь лет таскал его по грешной земле; нынче, дырявое, все побитое осколками, оно досталось чужим людям - врачам да сестрам. И вот, гляди-тко, они ухаживают за ним так, точно он драгоценный сосуд. Даже совестно.

Справа от него лежал боец без руки. Он все, бывало, ворчал, недовольный и едой, и врачами, и палатой. Алексей Куликов слушал-слушал, да и спросил однажды:

- Ты что, мил человек, шорник сам?

- Это почему же шорник? - опешил тот.

- Али сапожник? - допытывался Куликов. - Который человек сидячего ремесла, тот поворчать любит. Работа скучная, одинокая - он и развлекает сам себя.

- Ложечник я! - сердито закричал ворчун. - Ложки делал! Вот кто я, если желательно знать. Может, я первый ложечник был на всею Горьковскую область. Может, моей ложкой вся Расея щи хлебала. А теперь меня самого с ложки кормят, руки нет.

- Какой руки-то нет? Правой, что ли? - спросил Никифор.

- А хотя бы и левой! Лучше б мне герман обе ноги оторвал. На что мне ноги? Не плясун. А без руки - куда же я?

- Была бы правая... - утешительно сказал Куликов. - А без левой и приспособиться можно.

Но на безрукого добрые слова действовали мало, ворчал он по-прежнему.

- Чего меня лечите? - бурчал он на врачей. - Меня лечить без надобности. Отвоевался я. Вы Куликова лечите, он еще гож; для боя.

- Ну что ж! - отвечали врачи. - Куликова вылечим для боя, а тебя для жизни.

Эти слова поразили Никифора, он их слышал. И Куликова, видно, поразили они. Вечером Куликов подошел к соседу и склонился над ним.

- Для жизни тебя лечат! - проговорил он. - Слышь, сосед, слова какие? Для жизни! Хорошие слова! Возьми, к примеру, машину, трактор. Переломай ты ему гусеницы, дифер, кузов - что получится? Лом. Не машина это будет, а железный лом. Только всего. А у человека руки оторви, ноги выдерни - он человек был, человеком и остался. Слышь? Потому в нем душа есть, разум, - он совсем близко наклонился к соседу и дышал ему в лицо. - Не расстраивайся, земляк, слышь? Живи. Очень я тебя прошу. Живи для жизни.

И, слыша эти слова, задумался о жизни и Никифор. Горько было ему, что не доведется больше покурить с ребятами махорки в блиндаже, не бежать ему вместе, рядом, в атаку, когда смертельно весело грохочет артиллерийский гром, смерть жарко дышит в лицо и от ее дыхания жутко, и весело, и буйно на душе... Он теперь знал, зачем остался жив на земле, зачем будет жить долго и плодоносно: для большой жизни остался он жить, для труда. Выписываясь из госпиталя, он долго тряс руку Куликова.

- Домой идешь? - спрашивал сержант.

- Вроде домой, - улыбаясь, отвечал Никифор. - Собственно дом-то еще под немцем. Но предполагаю так: освободят! А? Как думаешь?

- Освободят! - уверенно отвечал Куликов. - Ну, иди. А я еще за пулей схожу. Я еще драться не кончил.

- И я б... пошел... - смущенно сказал Никифор. - Да вот костыли не пускают...

- Ничего, ничего! Иди домой! Без тебя управимся, - он опять потряс руку Никифора. - Домой идешь! Святое дело, брат! Все мы отвоюем - домой придем.

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими степями.

- На мой дом направление наши держат! - восклицал Никифор. - Как есть на мой дом, по курсу...

И он решил идти вслед за наступающей армией.

Попутные машины охотно брали его.

- Давай подвезем! Далеко? - спрашивали его шоферы.

- Оно и далеко и близко, - отвечал, пожимая плечами, Никифор. Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках - далеко. Ну, думаю, пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а?

- Раньше возьмут! - отвечали веселые шоферы.

- И я предполагаю, раньше. Торопиться надо.

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной земле, ночевал в освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее место.

- Это не мне, - догадывался он, - это костылям моим. Это крови моей пролитой почет.

И он знал, что за это благодарить неловко, нельзя; вместо благодарности он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о Сталинграде и шоферам, подвозившим его, и бойцам, кормившим из своих котелков. Его слушали охотно, - и он и его костыли уже принадлежали истории.

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, тем все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь.

В поселках бабы в голубой колер мазали хатки.

- Эй! - кричал он им. - Больно рано, бабоньки. До пасхи далеко.

- Та хай ему черт! - смеясь, отвечали бабы. - Гибельштрассе замазываем... - И они показывали ему на немецкие надписи на хатках: "Геббельсштрассе", "Герингштрассе"... Бабы с яростью замазывали немецкие следы.

В селах озабоченные мужики из-под снега выкапывали колхозное добро, из сокровенных ям доставали зерно - готовились к севу.

Хмурый мужик по-хозяйски прилаживал к плетню, вместо калитки, дверцу от немецкого автомобиля.

- Ты что ж это? - смеялся Никифор. - Трофеем обзавелся в хозяйстве?

- А что ж? - спокойно пожал плечами мужик. - Они у меня весь двор разорили...

В Вельске Никифор увидел первый торгующий магазин - книжный. Все здания вокруг были сожжены и разрушены, книжный магазин уцелел чудом. В витрине вовсе не было стекла, но книги лежали аккуратными стопочками.

- Так покрадут же! Покрадут! - сказал продавцу Никифор.

- Не украдут! - убежденно ответил продавец. - Народ под немцем жил, на их посулы не льстился. Что ж его теперь сомнением обижать? Нашему народу верить можно.

Как на праздник выходили люди на постройку мостов и дорог: они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов. Рылись в снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школы мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели ждать, не могли ждать, - в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили колхозники.

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. "Эх, работы сколько! Работы!" - жадно думал он, глядя на мертвые цехи.

Это не усталый, больной солдат шел с фронта - это шел строитель. Жадный. Нетерпеливый.

Перед ним лежала земля, как и он, - тяжело раненная. Над шахтами горько склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны.

- Ничего! - говорил Никифор. - Ничего, брат, живем! Эх, работы сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, будьте любезны!

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают...

1943